

*Alain Touraine*

**LE RETOUR DE L'ACTEUR**

*Essai de sociologie*

MOSCOU  
LE MONDE SCIENTIFIQUE  
1998

*Ален Турен*

**ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО**

*Очерк социологии*

МОСКВА  
НАУЧНЫЙ МИР  
1998

ББК 60.5  
Г 874

*Издание осуществлено в рамках программы «Пушкин» при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Посольства Франции в России.  
Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide à la publication «Pouchkine» avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères Français et de l'Ambassade de France en Russie.*

**Alain Touraine**  
**LE RETOUR DE L'ACTEUR. Essai de sociologie.**  
М.: Le Monde scientifique, 1998. 204 p.

Перевод с французского  
*Е. А. Самарской*

Редактор перевода  
*М. Н. Грецкий*

**Ален Турен**

Возвращение человека действующего. Очерк социологии. — М.: Научный мир, 1998. — 204 с.

ISBN 5-89176-042-8

© Librairie Arthème Fayard. 1998  
© Е. А. Самарская. Перевод с французского. 1998  
© М. Н. Грецкий. Редактор перевода. 1998  
© Научный мир. 1998

Из-во «Научный мир». 119890. Москва, Знаменка, 11/11  
ЛР № 030671 от 09.12.95 г.

Формат 70х90 1/16. Гарнитура Таймс Нью Роман.  
Печать офсетная. Усл. печ. л. 12,75. Тираж 5000 экз. Заказ 1688  
Отпечатано в типографии ОАО «Внешторгиздат»

## Содержание

Представление.....	5
--------------------	---

### *Первая часть*

#### **Новое представление об общественной жизни**

<b>От общества к социальному действию.....</b>	<b>10</b>
Классическая социология.....	10
Ее разложение .....	11
Антисоциология.....	13
Новое представление об общественной жизни.....	14
Кризис и мутация.....	17
Эволюция общественных наук.....	19
Обоснование данной книги.....	21
<b>Сдвиг социологии.....</b>	<b>24</b>
Разрушение.....	25
Созидание.....	27
<b>Кризис современности.....</b>	<b>30</b>
Эволюционизм.....	30
Постсовременное общество?.....	31
Единство или различие общественной жизни?.....	32
Разделение общества и государства.....	34
Развитие.....	35
<b>Имеет ли центр социальная жизнь?.....</b>	<b>36</b>
Возвращение субъекта.....	37
Центральная роль общественного конфликта.....	39
Заключение.....	41

### *Вторая часть*

#### **Социология действия**

<b>Восемь способов избавиться от социологии действия.....</b>	<b>42</b>
1. Оценивать ситуацию или социальное поведение с точки зрения несоциального принципа.....	42
2. Сводить социальное отношение к взаимодействию .....	43
3. Разделять систему и действующие лица .....	44
4. Спрашивать себя о степени значения той или иной категории социальных фактов (экономических, политических, идеологических).....	46
5. Говорить о ценностях.....	47
6. Рассматривать общество как дискурс правящего класса.....	49
7. Рассматривать социальные классы в качестве персонажей.....	51
8. Смешивать структуру и изменение в философии эволюции .....	52
Заключительные замечания.....	54
<b>Общественные движения: особый объект или центральная проблема социологического анализа?.....</b>	<b>55</b>
Коллективное поведение.....	56
Борьба.....	57

Общественные движения .....	57
Действие, порядок, кризис и изменение .....	62
<b>Два лица идентичности</b> .....	65
Большой поворот .....	65
Поведение в ситуации кризиса .....	67
Оборонительное поведение .....	68
Популизм .....	69
Наступательная идентичность .....	69
<b>Изменение и развитие</b> .....	71
<b>Метод социологии действия: социологическая интервенция</b> .....	76
Принципы .....	78
Процедуры .....	79
Проблемы .....	81
Область .....	83

*Третья часть*  
**Вопрошать настоящее**

<b>Рождение программированного общества</b> .....	85
Уровень историчности .....	85
Живой опыт программированного общества .....	86
Техницистское общество? .....	88
О новых классовых отношениях .....	90
Общества без государства или государства без общества .....	92
Заключение .....	94
<b>Новые социальные конфликты</b> .....	95
Чтобы избежать недоразумений .....	95
Конфликты пронизывают все постиндустриальное общество .....	96
Перед лицом все более интегрирующей власти оппозиция стремится охватить все более глобальные группы .....	98
Социальные конфликты и маргинальные, или отклоняющиеся от нормы формы поведения стремятся наложиться друг на друга .....	99
Структурные конфликты отделяются от конфликтов, связанных с изменением .....	101
<b>Отток общественных движений</b> .....	104
Разложение .....	105
Формирование .....	107
Между культурой и политикой .....	112
Риск декаданса .....	113
Заключение .....	113
<b>Общественные движения, революция и демократия</b> .....	114
Идея прогресса .....	114
От прогресса к индустриальному конфликту .....	115
Левые интеллектуалы .....	118
Конец революций .....	121
Общественные движения и демократия .....	122
Заключение .....	125
<b>Пост-скрипtum</b> .....	126
<b>Благодарности</b> .....	132

## Представление

Социология возникла как особая форма анализа общественной жизни. Она представила общественную систему в движении от традиции к современности, от верований к разуму, от воспроизводства к производству, или, если употребить самую амбициозную формулировку, данную Теннисом, от общности к обществу. В результате общество оказалось явственно отождествлено с современностью. С этой точки зрения, действующие лица истории оценивались либо как агенты прогресса, либо как его противники. Капиталисты, эти главные действующие лица экономического изменения, считались нередко жестокими, но чрезвычайно энергичными творцами триумфа таких реалий как разум, рынок, разделение труда, выгода. В связи с этим и рабочее движение представало защитником труда против иррациональной прибыли, производительных сил против расточительства кризисов.

Если поставить вопрос в политическом плане, то демократия соответственно ценилась не сама по себе, а как воплощение воли к разрушению олигархии, привилегии и старых порядков. В области воспитания точно так же школе предписывалась задача освободить детей от тех местных особенностей, которые они восприняли в результате рождения, под влиянием семьи, семейной среды и господствовавших в ней именитых граждан. Все это составляет сильный, даже захватывающий образ общества, которое определяется не своей природой или еще менее традициями, а усилиями действующих лиц, которые, как и все общество, освобождаются от оболочки прошлых партикуляризов в движении к универсальному будущему. В таком чрезвычайно плодотворном способе анализа общественной жизни совершенно соответствуют друг другу знание системы и понимание ее действующих лиц. Роли и чувства последних при этом определяются в собственно социальных и даже политических или, лучше сказать, [5] республиканских терминах. Действующее лицо общества оказывается тогда прежде всего гражданином, его личное развитие неотделимо от общественного прогресса. Нерасторжимыми кажутся свобода индивида и его участие в общественной жизни.

Но по крайней мере уже полвека как обозначился кризис такого представления об общественной жизни. И обозначился так ясно, что мы его называем сегодня «классической социологией», косвенно признавая тем самым отделяющую нас от него дистанцию. С одной стороны, позади слишком смутных слов «общество» или «социальная система» мы научились распознавать формы классового или государственного господства. Современность иногда трансформировалась, прежде всего на европейском континенте, в варварство. Вместе с евреями Западной Европы, которые, может быть, чаще, чем любая другая категория населения, отождествлялись с линией прогресса, так как она допускала их ассимиляцию при сохранении собственной культуры, в Освенциме сожгли идею прогресса. С другой стороны, в Гулаге умерли надежды на пролетарскую революцию. Разрыв был таким жестоким и настолько связанным с последствиями Великой Европейской войны, Советской революции, экономического кризиса и фашизма, что после Второй Мировой войны и последовавшего за ней длительного периода экономической экспансии произошло мощное воскрешение классической социологии, но только на другом берегу Атлантического океана. Основываясь на той же эволюционистской концепции, что и социология до 1914 г., Толкотт Парсонс сделал больший акцент на условиях и формах интеграции социальной системы, чем на ее модернизации. Это еще более усиливало соответствие между анализами системы

и ее действующих лиц. Социология прочно оперлась на взаимодополнительные понятия института и социализации, удерживаемых вместе благодаря центральному понятию роли.

На деле эта конструкция имела еще более короткую жизнь, чем собственно классическая социология. Действующее лицо скоро восстало против системы, оказалось рассматривать себя в рамках своего участия в общественной системе, разоблачило иррациональный империализм правителей и стало рассматривать себя скорее в связи со своей особой историей и особой культурой, чем в связи с уровнем современности. Западные общества долго могли видеть в себе форму перехода от местной общности к национальному и даже интернациональному обществу. Но по мере того как увеличивалось число участников общественной сцены, дефиниция последней и ее [6] «ценностей» распалась на части. Действующее лицо общества и само общество оказались противопоставлены друг другу вместо того чтобы друг другу соответствовать, и сразу же начался кризис социологии. Последний усилился вслед за волнениями шестидесятых годов. Самое широкое влияние тогда завоевало такое представление об общественной жизни, которое видело в последней совокупность знаков всемогущего господства, что не оставляло места для действующих лиц по сравнению с безжалостными механизмами поддержания и адаптации этого господства. Действующее лицо, со своей стороны, отбросив правила общественной жизни, все более замыкалось в поиске своей идентичности то ли посредством своей изоляции от общества, то ли путем создания маленьких групп, обладающих собственным сознанием и способами его выражения.

В начале 80-х годов не существует более какого-либо господствующего представления об общественной жизни. Политические и в особенности национальные идеологии, которые рассматривают действующих лиц общества прежде всего как граждан и заявляют, что усиление коллективного действия и завоевание государственной власти ведут к личному освобождению, разрушились и не вызывают ничего, кроме безразличия и неприятия.

На этот раз возникла необходимость заменить классическую социологию другим представлением об общественной жизни.

Надо, таким образом, отказаться от иллюзорных попыток анализировать действующие лица вне всякого отношения к общественной системе или, наоборот, от описания системы без действующих лиц. Согласно первому способу, идеологической формой которого является либерализм, общество сводится к рынку. Но эта идея наталкивается на слишком очевидные факты, противоречащие ей. Столько рынков так ограничены олигополиями, соглашениями, политическим давлением, государственными вмешательствами и требованиями неторгового плана, что эта псевдоэкономическая характеристика скорее затрудняет понимание общества, чем полезна для него, хотя она играет важную критическую роль в борьбе с «коллективистскими» иллюзиями предшествующего периода. Второй способ приобретает не менее смутную форму некоего «системизма», который часто является чрезвычайной формой функционализма. Согласно этой точке зрения, общественная система адаптируется гомеостатически к изменениям своего окружения. Но эта точка зрения иногда оборачивается против себя самой, когда признают, особенно в общей теории, что свойство человеческих систем заключается в их [7] открытости, в выдвижении и изменении собственных целей. В этом случае мы приближаемся к социологии действия, к которому принадлежит настоящая книга.

Спротивляться соблазну «постисторической» мысли может быть более трудно. Когда самые старые индустриальные страны, чувствуя утрату скорости и лишившись своей прежней гегемонии, сомневаются в самих себе, становится понятной привлекательность социологии перманентного кризиса, непреодолимое

влечение к идее декаданса. Поиск удовольствия, но также различия, эфемерного, встречи, скорее чем отношения, идея чисто «разрешающего» общества придают мышлению и общественному поведению нашего времени ту игру цвета, то немного принужденное возбуждение, которое напоминает карнавалы, вновь появившиеся у нас зимой после векового отсутствия.

Не стоит торопиться с отказом от этих тенденций современной общественной мысли. Ибо именно на такой общественной сцене, загроможденной тяжеловесными аппаратами и механизмами давления, пробитой насквозь призывами к идентичности, пересеченной любовными и азартными играми нам предстоит выполнять задачу, которую бы некоторые могли счесть невозможной, задачу реконструкции представления об общественной жизни. Особенно трудно ее выполнить в такой стране как Франция, где расстройство анализа еще скрыто покровом мертвых идеологий.

Более ясна необходимость такой работы стала с тех пор, как повернулись спиной к «обществу» с его политикой и идеологиями и стали смотреть на общественную жизнь с точки зрения культуры, независимо от того, идет ли речь о науке или о нравах. Контраст получился поразительный, и общественное мнение тут не ошибается: оно не интересуется более политикой, но питает страсть к изменениям в науке или этике. Как говорить о закате, конце истории, постоянном кризисе, когда наука снова взрывает и модифицирует представление о живом существе, его наследственности и мозге? Как отрицать существование мутаций целого, когда наши нравы быстро трансформируются, когда перевернуты сверху донизу наши взгляды на отношения между мужчинами и женщинами или между взрослыми и детьми?

Я к этому буду возвращаться беспрестанно: данная книга пишется в момент, когда уже трансформированная культура требует мутации общественной мысли и, соответственно, политического действия. Современное сочетание культуры XXI века и общества, еще погруженного в XIX век, не может дольше продолжаться. Такое противоречие [8] или ведет к полной дезинтеграции, отмеченной вспышками насилия и иррационализма, или оно будет преодолено благодаря созданию новой социологии.

Вопрос о последней будет постоянно присутствовать на протяжении всей данной книги, ее концепция была довольно подробно изложена в некоторых из моих прежних работ (Ср. особенно «Production de la Société». Seuil, 1973), так что здесь достаточно сказать, что я попытаюсь заменить представление об общественной жизни, основанное на понятии общества, эволюции и роли, другим, в котором такое же центральное место займут понятия историчности, общественно-го движения и субъекта.

Главная помеха такой реконструкции заключается несомненно в том, что действующие лица общества смогли в «историческом» прошлом (мы оставляем здесь в стороне так называемые примитивные общества) организовать общественную сцену и разыгрывать на ней пьесы, имеющие смысл и некоторое единство только в той мере, в какой главный смысл их отношений помещался над ними, был мета-социальным, некоторые сказали бы — священным. Такова модель общества, сконструированная классической социологией: там предприниматели и рабочие оспаривали друг у друга управление Прогрессом, руководство смыслом истории. Но когда общества завоевали уже такую способность действовать на самих себя, стали такими «современными», что они могут быть целиком секуляризованы, — расколдованы, как говорил Вебер, — может ли еще сохраняться какой-то центральный принцип ориентации действующих лиц и интеграции конфликтов?

Этот вопрос находится в сердце данной книги. Ответом на него не может служить непосредственно понятие общественного движения, ибо в настоящее

время мы особенно ощущаем, насколько чужд нам почти религиозный образ общественных движений, которые остались нам от прежних веков. В современных обществах не исчерпала ли себя неизбежно эта борьба за чистоту, свободу, равенство, справедливость, которая велась во имя Бога, Разума или Истории? Не разрушены ли они вследствие, может быть, непреодолимого зова интереса (каковой можно также назвать идентичностью, удовольствием или счастьем)?

Помочь нам ответить на подобные вопросы может понятие историчности, но при условии его глубокой трансформации. Под историчностью мы имеем в виду способность общества конструировать себя, исходя из культурных моделей и используя конфликты и [ :9 ] общественные движения. В «традиционных» обществах, где доминируют механизмы социального и культурного воспроизводства, призыв к историчности имеет воинственный характер. Он вырывает действующее лицо из связывающих его детерминаций, чтобы превратить его в производителя общества в духе всех «прогрессистских» революций и освободительных движений. Напротив, в «современных» обществах, которые обладают способностью воздействовать на самих себя и подчинены всепоглощающей власти аппаратов управления, производства и распределения благ (не только материальных, но и символических), языков и информации, призыв к историчности не может более означать призыва к участию в общественной системе, а только к освобождению от нее, призыва к приложению сил, а только к дистанцированию.

В связи с этим формируется новый образ субъекта. Эта книга должна бы, может быть, называться «Возвращение субъекта», ибо субъект и есть название действующего лица, когда последнее рассматривается в аспекте историчности, производства больших нормативных направлений общественной жизни. Если я предпочел говорить о «Возвращении человека действующего», то потому что речь идет о возвращении на всех уровнях общественной жизни. Но главное заключается в необходимости заново определить субъекта, ориентируясь при этом не столько на его способность господствовать над миром и трансформировать его, сколько учитывая дистанцию, которую он занимает по отношению к самой этой способности и к приводящим ее в действие аппаратам и дискурсам. Субъект в таком случае предстает по ту сторону своих действий и в оппозиции к ним, как молчание, как чуждость в отношении мира, называемого социальным, и одновременно как желание встречи с другим, признанным в качестве субъекта. Мы обретаем его в протесте против тоталитаризма и пыток, против казенного языка и псевдорациональности силовой политики, в отказе от принадлежности к этому. Из революционера он стал анархистом.

Однако это перевертывание понятия субъекта не лишено опасности и не является безграничным. Главная опасность заключается в том, чтобы запереть действующее лицо в несоциальном вследствие его отказа от социального. Несоциальное может быть индивидом, а также группой или общностью, как это часто наблюдают в некоторых странах Третьего Мира, где отказ от господства, опирающегося на иностранные силы, привел к различным формам общинного единения. Дистанция, которую занимает субъект в отношении общественной [ :10 ] организации, не должна его замкнуть в себе самом, она должна подготовить его возвращение к действию, привести его к тому, чтобы он включился в общественное движение или в культурную инновацию.

Новое представление об общественной жизни не может родиться сразу. Оно разовьется только вместе с формированием новых действующих лиц общества и организацией конфликтов, связанных с управлением уже во многом измененной историчностью. Но начиная с сегодняшнего дня необходимо указывать на эту новую прерывность в истории общественной мысли и, возможно, отмечать природу происходящих изменений. Те, кто продолжают видеть один кризис, замечать



только разложение прежних дискурсов, рискуют опоздать с выходом из кризиса. Те, кто стремятся сохранить социологию как позитивный или негативный образ общества-системы, способной удержать вопреки всему основные принципы своей ориентации, осуждены на все большее усиление с каждым днем идеологического характера их дискурса. Наконец, те, кто думают, что поиск лучше развивается, когда он не стеснен слишком общими идеями, скоро заметят, что их малочестнолюбивая позиция может вести только к ослаблению поиска и подчинению его реальным или предполагаемым интересам сильных.

Наша работа пришлась на тот момент, когда мы, вероятно, достигли точки самого большого разложения прежних систем анализа и одновременно дна кризиса. Но уже изменение культурных моделей и все более явное присутствие нового этапа экономической деятельности делают необходимым новое размышление общественных наук о себе. Вот уже прошло полтора века, как на следующий день после Французской революции и в начале индустриальной эры развилась социология, это новое отображение общественной жизни. Не нужно ли последовать примеру классиков и признать необходимость обновления общественной мысли, сопоставимого по значимости с тем, которое они так хорошо осуществили?

Париж, Троицын день, 1984. [11]

# *Первая часть*

## НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

### От общества к социальному действию

#### Классическая социология

Социология создавалась как идеология современности. Взятая в позитивистской традиции, она иногда служила оправданием просвещенных военных или гражданских правителей, как, например, в Бразилии или в Турции. Реже она была отражением подъема новых социальных слоев, например, во Франции, где начиная с Дюркгейма было много сделано для сближения социологии и социализма. Но чаще всего, особенно в лице парсоновской школы, она была идеологией центра, общественной интеграции и идентификации национального общества с современностью. Вот почему социология определялась стихийно как наука об *обществе*, принимающая к тому же это слово в значении современного общества в противоположность «общине», типу организации в прежних обществах. Этот переход от множественного к единичному понятен: освобождаясь от своих местных географических, культурных и социальных особенностей, человечество движется к обществу, управляемому универсальными ценностями и нормами Разума, являющимися одновременно ценностями и нормами производства и права.

Это тождество порядка и движения, модернизации и социальной организации совсем не ставилось под сомнение. Даже те, кто критиковал современное общество, называя его скорее капиталистическим, воображали, что в результате ниспровержения этого несправедливого и иррационального типа социальной организации [12] установится рациональное общество. Но несмотря на подобное согласие, что может быть более трудного для понимания, чем идея современного общества, в определении которого присутствует способность к трансформации и рационализации? Каким образом целое, находящееся в непрерывном движении, в прогрессе, может представлять в то же время стабильную, интегрированную систему, способную поддерживать свои главные отношения равновесия и внутреннюю организацию, наделенную даже механизмами регуляции? Классическая социология не может ответить на этот вопрос, идея коллективного сознания больше запутывает, чем приносит ясности. В действительности же то, что такая социология называет обществом, является только смешением социальной деятельности, определяемой общими понятиями, такими как индустриальное производство или рынок, с национальным государством. Единство общества состоит в том, что ему дает и предписывает законная власть. Его границы являются не теоретическими, а реальными: это таможенные посты. Общество является псевдонимом родины.

Классическая европейская социология, какой является социология развивающихся в XX веке стран, изучает только *смешанные* системы, одновременно социальные и политические (*society* и *polity*). И часто социологические теории играли роль идеологий национального объединения. Совсем недавно парсоновская социология, эта последняя значительная конструкция классической социологии, была зеркалом Соединенных Штатов в апогее их силы и гегемонии. Главный результат такого рода классической социологии тот, что она оставляет очень мало места для идеи социального действия. Чем больше говорят об обществе, тем

меньше говорят о его действующих лицах, так как последние воспринимаются просто как носители атрибутов, присущих занимаемому ими в социальной системе месту. Находятся ли они в центре или на периферии, вверху или внизу, они разделяют в большей или меньшей степени ценности современности. Если учитывать более сложные связи, то поведение действующих лиц можно объяснить уровнем соответствия между их ролями или же сильной либо, напротив, слабой интеграцией ценностей, норм и организационных форм общества. Воспитание хорошо демонстрирует такую концепцию действия: хороший ученик, как и хороший учитель безличны, они отождествляются с Разумом, последнему могут сопротивляться лишь иррациональные страсти. Нет действующего лица между универсальным разумом и теми силами или идеологиями, которые ему противостоят. Откуда возникает необходимость его формировать, [13] вести, даже принуждать и, если необходимо, подавлять. Действующие лица в классической социологии рассматриваются только с точки зрения того, помогают ли они прогрессу или сопротивляются ему. Никос Пулантзас довел до крайности эту традиционную концепцию, потребовав полного отделения социальных ситуаций, единственно важных для анализа, и действующих лиц. Связанная с этой концепцией общества историография, преодолев, со своей стороны, идею цивилизации, т. е. естественной истории ансамблей, которые рождаются, растут, стареют и умирают, придала центральное значение идее прогресса, формирования современного общества и национальных государств. При этом она мало-помалу перешла от романтического направления, верившего в творческую волю индивидов и наций, к менее динамичному видению, согласно которому соотношение политических сил и культурные представления определяются состоянием инфраструктуры. Действующее лицо, поначалу покрытое пришедшей из веков легендой, оказывается затем раздавлено экономическим детерминизмом.

Функционалистская социология исключает действие другим способом, чем марксистская социология, но не менее эффективно. Она заменяет коллективные действующие лица категориями, уровнями, стратами, или другими статистическими ансамблями, определяемыми уровнем социального участия.

Эта классическая социология покоится на трех принципах:

- слияние некоего типа общества и «смысла истории» в понятии современного общества;
- отождествление социальной системы с национальным государством, в силу чего центральное место приобретает понятие института;
- замена действующих лиц общества статистическими ансамблями, которые определяются уровнем или формой социального участия и знаками внутренней логики функционирования общественной системы.

### **Ее разложение**

Одновременно эволюционистская и функционалистская социология была разрушена в первую половину текущего века скорее в силу исторических перемен, чем по причине интеллектуальной критики. Европа перестала верить в идею модернизации и рационализации начиная с Великого Кризиса, подъема фашизма и роста концентрационных лагерей в Советском Союзе и в Германии. Разочарование [14] Европы хорошо передают такие выражения как «кризис прогресса», «закат разума». В то же время история XX века явно наталкивала на невозможность смещения социальной системы и государства. Дело в том, что планета не была более во власти буржуазии, контролирующей государство, так как произошел подъем коммунистических или националистических, индустриализаторских и авторитарных государств. И сразу социология утрачивает доверие к фигуре действующего лица в качестве исторического персонажа. Отныне пролетариат, бур-

жуазия, нация предстают идеологическими конструкциями или марионетками, управляемыми держателями политической власти.

Критическая социология обнаружила позади порядка — силу, позади консенсуса — репрессии, открыла в модернизации иррациональность, в общих принципах — частный интерес. Модернистская Европа отождествляла себя с Просвещением и с прогрессом. Угнетенные классы, колонизованные нации, недовольные цензурой люди творчества и заклеенные в качестве аномальных и маргиналов действующие лица отбросили ее претензию на универсализм и самоотождествление со справедливостью и свободой. Таким образом развилась не столько другая социология, сколько скорее антисоциология. Центральной в классической социологии была идея соответствия между институционализацией ценностей и социализацией действующих лиц. Теперь ей было противопоставлено отделение системы и действующего лица. Система была понята как совокупность правил и принуждений, каковы действующее лицо должно научиться скорее использовать или обходить, чем уважать. Что хорошо, например, умеет делать французский гражданин в отношении установленных государством правил. Со своей стороны, действующее лицо не было уже гражданином или трудящимся, а индивидом, членом первичных общностей, привязанным к культурной традиции. Наконец, что особенно важно, оказались разделенными нормы функционирования общества и историческое развитие. Историческое изменение не определяется уже как прогресс или модернизация, а как совокупность стратегий, стремящихся оптимизировать употребление ограниченных ресурсов и контролировать зоны неопределенности.

Идея общества исчезла, и само «социальное» было заменено политикой, которая приняла две противоположные формы. С одной стороны, форму тоталитарной власти, которая пожирает социальную жизнь, с другой, форму групп давления и аппаратов решения, которые [15] сталкиваются на политическом рынке. Это холодный мир, из которого исключено действующее лицо со всеми его верованиями, проектами, общественными отношениями, с его способностью к чисто социальному действию.

Такое видение общественной жизни, или скорее, противопоставление двух ее разъединенных половин — системы как порядка и действующего лица как счетного устройства и игрока — господствовало в семидесятые годы. С одной стороны, самое большое влияние имели, при всем их различии, работы Маркузе, Фуко, Альтюсера, Бурдьё, Гоффмана, с другой, Симона, Марша, Бло, Крозье, разрабатывавших концепции, получившие название теории организаций и решений.

Этот этап в общественной мысли был связан с двумя большими историческими переменами. Во-первых, с превращением освободительных движений в авторитарные государства. Во вторых, с изменением культуры в уже индустриализованных странах и с появлением новых форм знания, экономической активности и этических моделей, временно оторванных от социальных и политических отношений. *Общество* взорвано, с одной стороны, оно поглощено государственной властью, с другой, оно «отстает» (отставание скорее социальное, чем культурное) в отношении культурных трансформаций, то есть строительства отношений с окружающей средой.

Разрушение классической социологии имеет два рода последствий и значений, отношения между которыми сложны. Прежде всего, финализм, свойственный современности, уступает место более научному анализу общественных отношений. На руинах связанных между собой эволюционизма и функционализма вырастает такой анализ культуры, экономики и даже общественных систем, который исключает всякое обращение к природе общества или к смыслу истории.

«Общество» перестает быть объектом социологии, им становятся поведения и общественные отношения.

Но разрушение устаревшей концепции социального действия влечет за собой, по крайней мере в течение первого периода, общий отказ от идеи социального действия и прямое применение к изучению современных обществ понятий, заимствованных из исследований наименее сложных живых существ. Их «мечта» состоит в самовоспроизводстве, а воздействие на себя имеет целью сохранить внутреннее равновесие. Эдгар Морен оригинально выразил двусмысленность обращения к моделям, заимствованным из наук о природе, пытаясь в [16] противостоят господствующим тенденциям найти в физике и особенно в биологии формы мысли, находящиеся в согласии с обновленной социологией действующего лица.

Вот где мы находимся. Нет больше признанной модели анализа действующих лиц общества. Социология в точном смысле больше не существует: классическая социология разрушена, а чисто критическая социология может разрушиться очень скоро.

«Естественные науки о человеке» структуралистского направления занимают часть той области, которая была областью социологии. История как конкретное изучение конкретных ансамблей растягивается на настоящее. Политическая наука, следуя рекомендациям Ханны Арендт, освобождается от социологии. Последняя, будучи лишена интеллектуального определения, погружается в незначительные описательные работы или в бессмыслицу корпоративизма.

### Антисоциология

В этих условиях встает вопрос, почему бы не признать, что социология была образом, созданным неким особым типом общества о себе самом, а именно, капиталистическими странами, господствовавшими в индустриальную эпоху? Что она была дискурсом, роль которого аналогична роли теологии или сравнительной истории цивилизаций в других исторических типах общественной жизни? Как и ее предшественницы, эта модель в свою очередь разлагается у нас на глазах. Мы называли некоторые социальные ансамбли культурами, другие — цивилизациями. Теперь мы пришли к тому, чтобы назвать некоторые из них (или, может быть, одно) обществом. Но слова «общественный» и «общество» исчезают из нашего словаря, кто из нас не испытывает некоторого замешательства при их произнесении? Даже сама идея общественной действительности и общественных проблем поставлена под сомнение. Философы часто талантливо призывают к разрушению социального, которое они рассматривают как сферу неподлинности и необходимости, и призывают к антисоциальной свободе, носителем которой выступают то ли индивид, то ли политическое действие, руководствующееся философскими принципами. Подобное разрушение социального доводит до крайности движение секуляризации, с позиций которого в обществе видят нового идола, требующего человеческих жертв и нуждающегося в свержении. Многие желают абсолютного триумфа рынка и индивидуального интереса, связанного с освобождением желаемого и [17] воображаемого, всегда подавлявшихся нормами социальной жизни. Другие, напротив, боятся *заката общественного человека*, если повторить название книги Ричарда Сеннета (*The Fall of Public Man*. New York, A. Knopf, 1974. Французский перевод «*Les Tyrannies de l'intimité*». Seuil, 1978), и нашествия нарциссизма, упоминаемого Кристофером Лашем (*The Culture of Narcissism*. New York, Norton, 1978. Французский перевод «*Le Complexe de Narcisse*». Laffont, 1980). Но вопрос, нужно ли поистине выбирать между сильным обществом с его коллективным сознанием и его ценностями, с одной стороны, и освобождением интересов и желаний, ограниченных только правилами игры, обеспечивающими право инициативы и выражения наибольшему числу людей, с другой?

Для некоторых та критика, которую я выдвинул против идеи общества и классической социологии в целом, недостаточна, ее должно сменить более радикальное отрицание, разрушение всякого принципа единства общественной жизни. Таков поистине смысл главного сегодняшнего спора. Согласимся, что классическая социология испытывает кризис, признаем, что представление об обществе как стопроцентной системе порядка и господства является только идеологической версией, в рамках которой невозможно анализировать социальную действительность, где господствуют быстрые и сложные изменения. Но коль скоро мы дошли до этого пункта, возникает вопрос, какое направление принять? И прежде всего, возможно ли избежать представления об общественной жизни как рынке, единственной границей которого была бы угроза завоевателей из далеких стран, где господствуют нужда, фанатизм или милитаризм?

### **Новое представление об общественной жизни**

В данной книге этот вопрос является исходной точкой. В ней принимается и отстаивается идея, что понятие общества должно быть исключено из анализа общественной жизни. Но при этом считается возможным и необходимым описать другой тип анализа, в центре которого находится идея *социального действия*. Означает ли это возвращение действующего лица, скрытого классической социологией и исключенного антисоциологией? Главное тут то, что растущее отделение действующего лица и системы могло бы быть заменено их взаимозависимостью благодаря идее системы действия. Но что это означает? [18]

Если классическая социология сплывила воедино культуру, социальную организацию и эволюцию, чтобы образовать те большие культурные, социальные и исторические ансамбли, которые она называла обществами, мы будем стремиться их отделить друг от друга, чтобы создать таким образом проблемное пространство, где может поместиться социология. Сначала приходит культура. Как можно рассуждать иначе в период, когда создается новая культура, новые отношения с миром, тогда как формы общественной жизни остаются старыми, разложившимися или беспорядочными? Такая культура не является общей «рамкой» общественных отношений, совокупностью ценностей. Еще менее она является «господствующей идеологией», как легкомысленно представляет ее левое мышление. Культура является смыслом, совокупностью средств и моделей, которыми действующие лица стремятся управлять, которые они хотят контролировать, которые они осваивают или обсуждают между собой превращение их в социальную организацию. Ее направления обусловлены коллективной работой, уровнем действия (самопроизводства), которое рассматриваемые коллективы оказывают на самих себя. Я называю *уровнем историчности* упомянутый уровень действия, который проявляется как в характере знания, так и в способах экономических вложений или в этике. Сегодня осуществляется переход от космоцентрического к антропоцентрическому образу общественной жизни. Вместо того, чтобы искать гарантов, то есть принципы легитимации человеческого действия в отношении вещей вне человеческого мира — в божественной благодати, в требованиях разума или в смысле истории, общество, достигшее самого высокого уровня историчности, определяет человека только в понятиях действий и отношений. Обращение к сущностям и к природе вещей исчезает из области науки. В этике моральность не определяется больше заповедями и преодолением интересов и страстей, она измеряется волей к самоутверждению и собственному выбору, так же как признанием других в качестве личностей во всем их своеобразии и воле к действию.

Действующие лица общества владеют культурными направлениями, определяющими область историчности, и оспаривают друг у друга контроль над ними. Ибо центральный сегодня общественный конфликт разделяет сообщество на тех,

кто является агентом и хозяином этих культурных моделей, и тех, кто принимает в них зависимое участие и стремится освободить их от влияния общественной власти. [19]

Один пример будет достаточен. Рабочее движение является центральным действующим лицом индустриального общества, ибо оно считает, что машины и организация труда хороши лишь в той мере, в какой они служат трудящимся и населению. Предприниматели тоже являются центральным действующим лицом этого общества, ибо они используют аналогичный язык: наше действие и наша прибыль хороши, потому что они развивают промышленность и повышают общий уровень жизни. Конфликт промышленников и рабочих находится, таким образом, в центре индустриального общества, оба лагеря верят в промышленность и разделяют одни и те же культурные цели, но борются между собой за то, чтобы дать промышленной культуре противоположные социальные формы.

Нет больше оснований противопоставлять Маркса Веберу. Один приносит в сегодняшнюю социологию идею о том, что общественная жизнь основана на центральном отношении господства, другой — идею, что действующее лицо ориентируется на ценности. Комбинируя эти две идеи, мы получаем определение *общественного движения*: действующие лица, противопоставленные друг другу отношениями господства и конфликта, имеют одинаковые культурные ориентации и борются между собой за общественное управление этой культурой и диктуемыми ею формами деятельности. Понятно, такое соединение может осуществиться только при отказе от того, что у Маркса или Вебера зависит от эволюционистского представления об общественной жизни. Но такое разделение между тем, что принадлежит ушедшей эпохе, и тем, что может быть использовано в другом историческом контексте, не менее законно для мыслителей, чем для людей искусства.

Столь же важно, что подобная реконструкция отношений между культурой и обществом является и преобразованием отношений между социальной структурой и историческим развитием. Повторим, классическая социология отличалась отождествлением двух осей анализа: модернизация была для нее одновременно постоянной силой изменений и принципом социальной организации. Их разделить было действительно трудно, когда существовал только один тип промышленного общества, а именно: Великобритания викторианской эпохи. Сегодня это легче при условии отказа от многократно опровергнутой фактами иллюзии о сходстве всех промышленных обществ. Это, между тем, не означает, что все зависит от национальной специфики и что нет ничего общего, например, между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Индустриальное общество как ассоциация [20] с некоей культурой и неким центральным общественным конфликтом повсюду одно и то же. Но способы индустриализации различны между собой, ибо если главным агентом индустриализации и, шире, исторического изменения является всегда государство, то последнее может вступить в союз с буржуазией или, напротив, само взять на себя роль правящего класса. В первом случае, который характерен для капиталистических стран, представительство социальных сил автономно по отношению к государству. Во втором случае, который относится к странам, называемым социалистическими, государство не соглашается на автономию структур, связанных с представлением социальных интересов.

Классическая социология, которая изучала общества капиталистической индустриализации, где государство, по крайней мере на территории метрополии, имело очень мало независимости в отношении национальной буржуазии, вовсе не размышляла над вопросом о государстве, охотно отождествляя правящий класс и агентов экономического развития. Сегодня существуют бок о бок общества, становящиеся все более *гражданскими*, где большое число действующих лиц оказывает влияние на политические решения. С другой стороны, существуют также со-

циалистические режимы, где государство является всемогущим. Поэтому нельзя более придерживаться точки зрения тождества между функционированием индустриального общества и движением индустриализации. Напротив, общественное мнение противопоставляет страны, которые как будто утратили ощущение государства, и те, где тоталитарное государство отождествляет себя с обществом.

Самая главная особенность классической социологии заключается в том, что создавая из больших исторических ансамблей носителей собственного смысла, она сводила анализ общественного действия к поиску позиции действующего лица в системе. Социология действия отбрасывает такое объяснение действующего лица посредством указания на его место в системе. Напротив, она видит во всякой ситуации результат отношений между действующими лицами, имеющими определенные культурные ориентации и включенными в социальные конфликты. Если она придает решающее значение понятию общественного движения, то это потому, что последнее не представляет собой ответа на некую ситуацию, а ставит под вопрос отношения господства, позволяющие действующему лицу — можно назвать его правящим классом — управлять главными наличными культурными ресурсами. Бесплезно и даже опасно говорить об общественных [21] детерминизмах, так как индивидуальное действующее лицо одновременно и обусловлено ситуацией, и участвует в ее производстве. Верно, что мы развиваемся в городах, построенных до нас. Но еще более верно, что планы градостроительства передают отношения между действующими лицами, как социальными, так и политическими.

Это помогает устранить одно недоразумение. Социологи с полным основанием не доверяют любым формам отождествления наблюдателя с действующим лицом, так как анализ в таких случаях сводится к интерпретации некоего дискурса и низводится, так сказать, до уровня идеологии второй степени. Социология общественных движений и, шире, социология социального действия является антиподом подобной идеологической интерпретации, так как она отделяет различные значения действия и различные типы общественных отношений, в которых находится действующее лицо. Зато историцистские объяснения, в которых утверждается существование исторического единства наблюдаемых явлений, впадают в эту смертельную болезнь социологического толкования. Как только начинают предполагать, что все в стране зависит от ее капиталистического характера, коренится в ее современности или в ее национальном характере, выходят из рамок доказательности и отдаются произвольным интерпретациям. Социология действия и в особенности метод социологической интервенции (который является ее специфической практикой) противятся отмеченному глобализму, стремятся отделять друг от друга различные смыслы поведений и, в частности, конфликтов, выделять в сложности исторического становления простые элементы анализа. Нет ничего более противоположного социологии действия, чем философия истории. Может быть, некоторые увидят в первой новое перевоплощение героической социологии, богатой описаниями революций и столкновений между прошлым и будущим. Какое ослепление! Именно говоря, например, о рабочем движении, можно освободить социологию от ее привязки к законам капитализма или исторической эволюции. Напротив, те, кто говорят о классовой борьбе, сводят социологию к истории противоречий капитализма. Говорить о социальном характере рабочего движения, значит признать его в качестве действующего лица, осознать его в присущих ему культурных ориентациях и социальных конфликтах. Это противоположно обычному, по крайней мере для Франции, употреблению указанного выражения, когда пишут «рабочее движение», а имеют в виду фактически «левые партии». [22]

Сегодня дисквалифицировано видение истории и прогресса, унаследованное от Просвещения и эволюционизма XIX века. Но это далеко не умаляет внимания к



общественным движениям, хотя требует такого их анализа, который бы, вместо того чтобы помещать действующее лицо в историю, задавался бы вопросом о производстве исторических ситуаций действующими лицами.

В чем состоит тогда единство действующего лица, и представляет ли оно что-либо другое, чем совокупность ролей? Действующее лицо имеет единство и способно регулировать и организовывать формы своей деятельности лишь в той мере, в какой оно лично проживает историчность, то есть способно освободиться от форм и норм воспроизводства поведения и потребления, чтобы участвовать в производстве культурных моделей. Свойство человеческого субъекта заключается в том, что он обеспечивает иерархию форм своего поведения, более ценит научное знание по сравнению с мнениями и слухами, инновацию и инвестицию по сравнению с рутинной, добро по сравнению с общественными соглашениями. Чем более высокого уровня историчности достигает общественная жизнь, тем более действующее лицо утверждает значение и права сознания. История современности является историей роста роли сознания в противовес закону государя, обычаю, корысти, невежеству, страху. Общественное движение, коллективное поведение, включенные в конфликт в целях управления историчностью, существуют лишь в том случае, если действующее лицо обладает способностью подняться выше простых требований и даже политических переговоров, чтобы осознать себя и утвердиться скорее в качестве производителя, чем потребителя общественной ситуации. Оно должно быть способно поставить последнюю под вопрос, вместо того чтобы только соответствовать ей.

Социальная жизнь может быть прежде всего охарактеризована как деятельность самопроизводства и самотрансформации, которые она осуществляет посредством своих инвестиций, если дать этому понятию более широкий, а не чисто экономический смысл. Ее характеризуют, далее, конфликты, связанные с борьбой за управление этими инвестициями, наличие все более и более живого сознания действующего лица — субъекта, которое дистанцируется от результатов своих инвестиций, признает их своими творениями, размышляет над своей творческой способностью, выбирает в качестве главной ценности осознание и опыт самого себя в качестве субъекта и видит в других сходство с собой единственно в силу их способности быть субъектами. Здесь коренится единство социальной системы, оно [23] представляет собой область, где производится историчность, представляющая смысл общественных конфликтов и основанная на сознании субъекта.

### **Кризис и мутация**

Эти идеи, казалось бы, было легче принять в период более высокой экспансии, мы даже думали о возможности прямо перейти, не ослабляя усилий, от индустриального общества к новому типу общественной деятельности и организации. Сегодня, напротив, мы живем в ситуации хаоса, и смысл перемен нам менее ясен. Дезиндустриализацию легче ощутить, чем формирование постиндустриального общества. Разложение индустриального общества и кризис идеи общества заставляет развивать мысль о несоциальном характере общественной жизни, мысль, выражающую то ли отчаяние, то ли цинизм, то ли мечтательность. Мы решительно отбрасываем все типы мышления, которые соответствовали гегемонии, ныне нами утраченной, ту бессовестную гордыню, с которой мы самих себя так долго отождествляли со смыслом Истории и с царством Разума. Понятны мотивы, в силу которых многие из нас живут с ощущением кризиса и отбрасывают всякую социальную мысль. Но такие чувства не могут заменить анализа. Кроме того, возникает мысль, не преодолеваются ли они уже в той мере, в какой мы снова учимся распознавать стоящие перед нами проблемы, в какой становятся необходимы новые экономические инвестиции, меняется наука, заявляют о своих правах новые

формы моральной ответственности? И еще, не является ли образ социальной жизни, сведенной к простым изменениям, особенно благоприятным для тех, кто имеет лучшие шансы извлечь прибыль из этих изменений в силу своего богатства, расчетливости и могущества? Может быть, под предлогом освобождения от действительно устаревших образов социальной жизни мы возвращаемся к той чисто политической истории, с которой наши историки так эффективно сражались тому уже полвека?

Это временное помрачение общественной жизни должно быть понято исторически. Оно свидетельствует прежде всего об отказе от долгого и драматического извращения смысла рабочего движения, которое осуществляли тоталитарная власть или, по крайней мере, разного рода корпоративные системы и которое особенно зависело от либерального характера нашего способа общественных изменений. Тогда как волюнтаристический способ изменения ведет к [24] сосредоточению вокруг государства (или овладевшей им партии) ценностей, идей, чувств, либеральный способ изменений отдает приоритет трансформациям культуры и открытию рынков. Только после этой первой фазы восстанавливаются изменившиеся действующие лица. Мы живем в момент культурной мутации, активного движения в области социальной жизни, где быстрее, чем прежде, циркулируют люди, идеи и капиталы. Но мы еще живем среди опустошенных идей и старых программ, и если некоторые интеллектуалы фиксируют уже появление новых, только формирующихся проблем и реальностей, то большинство интеллектуалов превратилось в хранителей устаревших идеологий и даже в презрительных критиков новых идей. Те, кто прославляет социальную пустоту, помогают выместить мертвые идеологические листья. Те, кто ищет в науке, а не в «идеях» источник перемен, имеют основание предпочитать аналитическую деятельность историческим интерпретациям. Но уже явственно наступил момент обновить социологию, чтобы понять фактически существующие формы действия и социальные ожидания. В середине XIX века надо было отодвинуть подпевал и спекулянтов сакрализованной и забальзамированной Французской революции для того, чтобы открыть реалии индустриализации и рабочего класса. Такая ситуация апеллировала к более общему рассуждению об общественной жизни. Не находимся ли мы сегодня в аналогичной ситуации? Не должны ли мы освободиться от устаревшей философии истории, чтобы обнаружить по другую сторону кризисов и разочарований новые для Европы цели и новые действующие лица в общественной жизни?

Я не утверждаю, что обновленная социология может одним ударом заставить исчезнуть крайние формы антисоциологии, такая победа могла бы быть завоевана только в результате целой серии доказательств. В этот период смятения нужно еще хорошо формулировать вопросы, прежде чем давать ответы. Сформулируем здесь некоторые из вопросов, с которыми связаны существование и переориентация социологии.

Самым необходимым представляется знать, находимся ли мы еще в истории или мы вышли из развития и балансируем в ситуации декаданса, стагнации или регрессии, что, впрочем, может представлять в течение какого-то времени преимущество и некоторый соблазн. Второй вопрос, который очертить проще, заключается в том, чтобы знать, переживаем ли мы культурную мутацию или только совокупность эволюционных изменений, не несущих в себе разрыва с [25] прошлым. Этот выбор может быть ясно выражен в двух контрастных выражениях: «постиндустриальное общество» или «третья индустриальная революция». Подобный выбор апеллирует к еще мало развитым исследованиям изменений в типах знания, этических моделях и формах производства.

Третий вопрос касается появления новых действующих лиц общества. Он самый трудный, ибо события как будто толкают к негативному ответу, то есть к от-

рицанию иллюзий у тех, кто, как и я, уже пятнадцать лет говорит о новых общественных движениях. Данная книга не имеет амбиции решить поставленный вопрос целиком, но, по крайней мере, она может показать, почему и как вопрос должен быть поставлен и, как я считаю, привести к положительному ответу. Когда столько голосов нам повторяют, что сегодня больше нет общественных движений и что поиск их обусловлен ностальгией по находящемуся в упадке рабочему движению, я бы указал причины, по которым моя позиция не может быть опровергнута указанием на простую историческую очевидность. Даже затухание социальной борьбы, свойственной шестидесятым и семидесятым годам, может помочь лучше понять природу заключавшегося в ней общественного движения и освободить его от контркультуры и старых идеологий, с которыми оно было перемешано.

На мировом уровне сомневаться в значимости новых общественных движений заставляет триумф авторитарных государств. Те, кто был солидарен с антиимпериалистическими движениями (за освобождение Алжира или Вьетнама), после скоро оказавшейся горькой победы увидели перед собой авторитарные, бюрократические, идеологические, репрессивные власти. И вообще, можно ли верить в социальные движения, когда самая огромная и сильная из тоталитарных систем основывает свою законность на рабочем движении? А между тем, в особенности «Солидарность» продемонстрировала, что тоталитарный режим, связанный с иностранным господством, может подавить, но не уничтожить совсем действующих лиц общества, одушевленных прочной волей построения гражданского общества. Демонстрация тем более убедительная, что такое произошло не в одной Польше.

Можно указать на часть Латинской Америки, где общественные движения сами собой разложились, а затем были подавлены военными диктатурами, и которая теперь возвращается к демократии и показывает, как реорганизуются действующие лица общества, особенно, связанные с синдикатами. [26]

Что касается нашей части мира, то нужно ли действительно думать, что значение, придаваемое частной жизни противоречит коллективному действию? Со всем напротив, можно прочно стоять на той точке зрения, что частная жизнь и, если говорить более обобщенно, любая культурная сфера сегодня соприкасаются с областью политики, как это было с экономикой в индустриальную эпоху. Впрочем, все направления общественного мнения (показатель того — движение женщин) не доказали ли, что «частная жизнь» является сейчас более чем когда-либо общественным явлением, смыслом социального движения, центральной темой формирующихся социальных конфликтов? Причем успех или поражение определенной политической организации не служит здесь определяющим критерием.

### **Эволюция общественных наук**

Если я говорю о «возвращении» человека действующего, то это происходит потому, что последний далеко не отсутствовал в социологии, даже если понимание его в ней часто было смешано с «прогрессистской» философией, унаследованной от Просвещения, или с критикой капиталистических противоречий. В частности, охотно признавали, что экономический рост зависит более от способов поведения, чем от обстоятельств, от воли, чем от материальных ресурсов. Май 1968 г. одновременно означал и апогей, и разрушение такой манеры видения. Это движение противопоставило, как это делает сегодня немецкая молодежь, политическому дискурсу, лицемерному обогащению, эксплуатации Третьего Мира — требования субъекта. В ходе шестидесятых годов я также писал книги, в которых видел этапы создания анализа исторического действия. В результате поражения Майского движения наступил долгий период оледенения, когда, особенно во Франции, политика стала отождествляться с индустриализацией, очень далекой от

всякого настоящего социального проекта. В то же время в интеллектуальной жизни господствовали формы мысли, из которых было изгнано всякое обращение к действующему лицу. В эту эру подозрительности призывы к человеку действующему интерпретировались как хитрость какой-либо абсолютной силы — прибыли, государства и т. д. Предполагалась, таким образом, в ситуации ускоренных изменений идея неподвижного общества. Исследования от этого жестоко пострадали. Преподаватели и социальные работники, убежденные в своей бессилии перед лицом [27] неравенства и расслоения, поддерживаемых общественным строем и его идеологией, замкнулись в словесном радикализме. Последний прикрывал очень кстати отсутствие у них инициатив, даже позиций корпоративной защиты. Социология вся целиком разложилась, превратившись в дискурс, интерпретировавший дискурсы, в идеологию, критикующую идеологии, — слепую по части поведения и фактических ситуаций.

Однако действующее лицо, которое было представлено в нашей социологии в течение шестидесятых годов и затем изгнано оттуда, не исчезло из общественных наук. Но оно туда вернулось благодаря посредничеству историков. Эти последние следовали путем, обратным пути социологов. В XIX веке история оказалась в центре общественной мысли, которая отождествлялась одновременно с социально-экономическим прогрессом и с формированием национального государства, демонстрируя тем самым, что понятие общества было результатом пересечения понятий модернизации и нации. Эта победоносная мысль стала затем плоской вследствие экономизма, распространившегося особенно в период апогея Второго Социалистического Интернационала. Часто ограниченная изучением экономической конъюнктуры и неспособная соединиться с социальной историей, экономическая история заставила признать себя вследствие некоторых технических успехов, однако ценой обеднения всей совокупности исторической мысли.

Эта последняя была удачно обновлена двумя то дополняющими друг друга, то противоположными способами благодаря влиянию социальных наук. Если ограничиться ситуацией во Франции, то господствующим было влияние антропологии, может быть, потому, что в период между двумя мировыми войнами мысль Дюркгейма оказалась более плодотворна в этой области, чем в социологии. Отсюда интерес таких историков как Марк Блок, затем Фернан Бродель к изучению обширных исторических ансамблей, основы которых были скорее культурными, чем только экономическими. Влияние структуральной антропологии Клода Леви-Стросса усилило эту тенденцию, особенно в исследованиях древности и средних веков. Жак Ле Гофф ввел понятие исторической антропологии, Жорж Дюби перешел от изучения экономических систем к изучению культурных и идеологических структур.

Второе из упомянутых направлений, хотя оно больше связано с социологией, развивалось не столько в оппозиции, сколько в непрерывной связи с первым. Эммануэль Ле Руа-Ладюри, изучая [28] проникновение капитализма в аграрную экономику Лангедока, открыл, что гораздо больше заслуживала внимания устойчивость сельских структур, чем их экономическая трансформация. Таков отличительный подход в духе структуралистского «момента». Но на второй фазе исследования он ввел вновь в область структур действующие лица, переходя от почти неподвижного мира Монтай к изучению общественного движения, которое просвечивает в карнавале романских народов. Изучение культур скоро трансформируется, таким образом, в «историю ментальностей», удаляясь от структуралистского направления и приближаясь к основному мотиву Люсьена Фебра. Робер Мандру и особенно Филипп Арьес были инициаторами такой эволюции, которая их приближала к основным работам Мишеля Фуко, имевшим более философскую природу. Со своей стороны, Жан Делюмо применил тот же метод к изучению ре-

лигиозных чувств. Кризис социологии помешал ей извлечь пользу из этой новой истории, за исключением ситуации в Соединенных Штатах, где она обогатилась, вплоть до изучения самой Франции, многочисленными социо-историческими работами, наподобие текстов Чарльза.

Будучи преобразована таким образом, история могла сознательно покончить с традиционной историцистской моделью и разоблачить ее наивный натурализм, задаваясь вопросом о конструировании исторического объекта. Так поступил Жорж Дюби в отношении Бувин или Франсуа Фюре в отношении Французской революции, главной точки отсчета идеологии Прогресса.

Сегодня именно социология запаздывает сравнительно с другими дисциплинами в этой огромной трансформации общественных наук. Необходимо срочно помочь ей выйти из ее печальной изоляции, чтобы она могла участвовать в указанной эволюции. Помнится, что разложение классической социологии началось в период экономической экспансии. Давно пора сегодня перестать смешивать социологию кризиса и кризис социологии, чтобы приступить к решению тех проблем, какие поднимает новый тип общественной жизни, новый уровень историчности, появление которого кажется все менее и менее спорным.

### **Обоснование данной книги**

Между тем, в тот момент, когда я пишу, «возвращение человека действующего» не кажется очевидным. И это наименьшее, что можно [29] сказать, ибо социология, которая говорит о действии, историчности, об общественных движениях, о политическом представлении социальных требований, покажется многим идущей против течения. Данная книга вовсе не стремится быть полемической, но я ее писал, осознавая, что окажусь зажатым между, с одной стороны, новым разочарованным индивидуализмом, с другой, выродившимися и бюрократическими формами прежних представлений об общественной жизни. Обоснованием этой книги и может служить не что иное, как поиск выхода из этого двойного тупика общественной мысли с целью реконструкции социологического знания.

Действующее лицо в обществе не является ни отражением функционирования (или «противоречий») общества, ни суммой индивидуальных интересов и желаний. По мере того как под влиянием науки и особенно технологии растет наша способность воздействовать на самих себя, все большее число из нас и все большая часть в каждом из нас оказываются вовлеченными в общественную жизнь. Общественное мнение может остаться безразличным, когда национализируют предприятия или даже увеличивают права профсоюзов. Но когда меняют статус телевидения, обсуждают права женщин (например, преимущества и отрицательные стороны контрацепции), когда затрагивают проблемы эвтаназии или перспективы генетических манипуляций, каждый чувствует себя лично и коллективно затронутым. Вернулось время эмоций, как в психологическом, так и в старом историческом значении этого слова. Это объясняется тем, что подобные социальные и культурные проблемы, которые апеллируют к коллективному выбору, еще не нашли политического выражения. Как в конце прошлого века, когда рабочее движение оставалось на краю политической жизни, загромажденной дебатами другой эпохи, так сегодня политики не перестают дебатировать о рабочем вопросе, тогда как настоящие новые вопросы существуют как бы вне сферы политики.

Есть и более новый феномен. В течение веков Франция решала свои общественные проблемы в благоприятной международной обстановке, когда она даже господствовала над некоторыми частями мира. Эта частичная гегемония позволяла ей быть внимательной к своим собственным общественным и культурным внутренним проблемам, не заботясь, в отличие от зависимых как вчера, так и сегодня регионов, о вопросах внешней угрозы. Но эта гегемония теперь исчезла, в

первый раз за долгие времена Европа не является двигателем мировых изменений. Такая ситуация вызывает либо отказ от защиты национальных интересов, либо напротив, готовность к такой защите, [30] что влияет на осознание наших внутренних общественных проблем. Это может помешать нам сформировать такие же стопроцентные и независимые общественные и даже культурные движения, как в прошлом. При таких обстоятельствах говорить о возвращении или, наоборот, об исчезновении человека действующего, значит по-разному отвечать на эту новую ситуацию. Ибо действующее лицо на самом деле вернулось, но еще не имеет политического и идеологического выражения. Антисоциологи, преемники критической социологии, загипнотизированы взрывом индивидуализма и представляют социальную действительность только как совокупность принуждений и внешних угроз. Ничто, по их мнению, не должно вставать между индивидом и государством, между правами человека и тоталитаризмом, как если бы не существовало никакой собственно общественной цели: как если бы борьба отныне шла единственно за жизнь против смерти.

Такое положение позволяет нам по крайней мере отделить, наконец, проблемы общественной жизни от проблем исторического становления и разорвать последние связи, которые мы еще имели с классическими моделями социологии. Рабочее и социалистическое движение до 1914 г. говорило от имени будущего, Истории, Прогресса. Кто сегодня чувствует себя настолько сильным и уверенным, чтобы говорить подобным пророческим образом? Действующее лицо не может больше говорить от имени Истории, а только от своего собственного имени в качестве определенного субъекта. Наша эпоха не является больше сциентистской, она становится моралистической. Мы не хотим теперь управлять ходом вещей, а требуем просто нашей свободы, права быть самими собой, не будучи раздавленными аппаратами власти, силы и пропаганды. Возвращение человека действующего имеет не победоносный а оборонительный характер. Действующее лицо не призывает никого слиться в большом коллективном порыве, склоняясь скорее к антиколлективистскому порыву, оно отказывается обожествлять общество и еще более — государство. Оно больше верит в личные свободы, чем в коллективное освобождение, утверждая, что общественная жизнь вовсе не управляется естественными или историческими законами, а направляется действием тех, кто борется и договаривается о том, чтобы придать некую общественную форму значимым для них культурным ориентациям.

Действующее лицо общества в прежние времена протестовало против традиций, соглашений, форм репрессии и привилегий, которые [31] мешали его признанию. Сегодня оно протестует с такой же силой, но против аппаратов, дискурсов, заклинаний о внешней опасности, которые мешают ему разъяснить свои проекты, определить свои собственные цели и непосредственно включиться в те конфликты, дебаты и переговоры, которых он желает. Возвращение действующего лица не является возвращением ангела, а скорее старого крота, и работа социологии состоит в том, чтобы прорвать стену мертвых или извращенных идеологий, а также иллюзии чистого индивидуализма или ослепление декаданса, чтобы помочь увидеть действующее лицо и услышать его слова. Социологический анализ оказывается, таким образом, далеко от официальных дискурсов общества, размышляющего о себе самом. Он гораздо ближе к эмоциям, мечтам, обидам всех тех, кто является действующим лицом, но не признан в качестве такового, потому что формы политической организации и идеологии сильно запаздывают по отношению к практике и действительно современным идеям и чувствам.

Данная книга, которая является скорее этапом, чем конечным пунктом, больше стимулом, чем доказательством, может, однако, заставить услышать столь же простую, сколь и требовательную идею, согласно которой по ту сторону различ-

ных исследований и школ существует единство социологического анализа, придающее разным исследованиям некий общий смысл. Такое единство теперь тщетно было бы искать в эволюционизме классической социологии, оно может быть найдено только в социологии субъекта. Было бы ошибочно думать, что я отстаиваю здесь необходимость изучения общественных движений в том же смысле, в каком другие настаивают на важности контролирующих общественных инстанций или на сложности механизмов изменения. Или еще хуже, думать, что я ищу различий между «левой» и «правой» социологиями, то есть между идеологиями. Французские социологи, сознающие разложение их дисциплины, имеют тенденцию приписать его спорам индивидуумов, сект, идеологий. Нет ничего более ложного и опасного таких псевдообъяснений. Дистанция и несовместимость между различными работающими и по видимости конкурентными формами мысли гораздо меньше, чем между всеми ими и массой работ, лишенных какой-либо ориентации, если последняя не получена искусственным соотношением с мертвыми идеями.

Никоим образом я не хочу здесь предлагать непосредственно приемлемые для всех принципы анализа. Но настоящая работа лишена всякого полемического содержания (даже если она дает очень спорную [32] трактовку развития общественной мысли). Особенно когда она выдвигает в центр соотношение с историчностью, с общественными движениями, с сознанием субъекта и его способами анализа, она это делает ввиду того, чтобы лучше расположить различные области социологического анализа в отношении друг друга. Когда говорят об общественных движениях и их открытых конфликтах, то лучше понимают, каким образом устанавливается закрытость институтов и связанной с ними системы, каким образом отношения производства превращаются в отношения воспроизводства. Тот же исходный пункт проясняет также формы разложения общественных отношений и общественного действия, почти так же, как недавно социология общества могла прояснить изучение того, что она называла маргинальностями, отклонениями, аномиями. Наконец, социология изменений не меньше, чем социология порядка, должна основываться на знании систем общественных отношений и их культурных целей.

Между тем, я охотно признаю, что общие рамки социологии действия, как она представлена в этой книге, еще слишком отмечены моим глубоким желанием подчеркнуть центральную значимость историчности и общественных движений. Это вызывает критику с разных сторон, исходящую от других исследовательских областей и подходов. Но главное состоит в утверждении необходимости — и возможности — реконструировать социологическое знание, которое было бы наделено такой связностью и разнообразием, чтобы не оставалось ничему завидовать в классической социологии. Центральное значение, которое она приписывала понятиям современности, общества, института, не помешало значительным расхождениям между Дюркгеймом и Вебером. Почему должно быть иначе в том случае, когда эти идеи уступили место понятиям историчности, общественного движения, способа развития? Социологическая мысль вовсе не требует унификации, но она должна прежде всего остерегаться бессвязности. Поэтому важно ясно определить рамки дебатов, составляющих ее богатство, и посредством которых она прогрессирует.

Возможны два рода подобных дебатов. Прежде всего, проблема заключается в том, что область социального не покрывает всей совокупности опыта. С одной стороны, за ее пределы выходит специфическая деятельность государства (агента войны, мира, исторической трансформации), с другой, индивидуализм, межличностные отношения, рыночные стратегии. Где тогда проходят границы социальной системы, понятой как самоорганизующееся и [33] саморегулирующееся це-

лое? Кроме того, каким образом внутри самой общественной системы комбинируются ее освещенная сторона (действие и изменение) и ее затемненная сторона (порядок и кризис)? Здесь в самой радикальной формулировке находим проблему, которая была центральной уже в классической социологии: как одновременно понять порядок и движение?

Пытаясь таким образом формулировать большие социологические проблемы, скоро замечаем, что так называемые споры школ скорее свидетельствуют о параллельных, хотя и мало скоординированных усилиях постичь многочисленные аспекты общественной жизни. Решающее условие для выработки связного знания об общественной жизни заключается в том, чтобы каждый как можно лучше определял свои цели, формулировал гипотезы, разъяснял свою аргументацию. Что касается меня, то в этом заключено, как я считаю, право на существование этой книги.

## Сдвиг социологии

Кризис социологии касается самого ее определения. Он происходит от растущей трудности поставить в центр исследований общественной жизни идею общества. Конечно, мы часто употребляем это слово в нейтральном смысле, говорить о «французском обществе» означает чаще всего говорить о Франции... Между тем, социология сформировалась и развивалась, отталкиваясь от той идеи, что общественное целое организуется вокруг некоего центра или соответственно логике центра. В результате различные области коллективной жизни были как бы предназначены выполнять институционализированные функции, поддерживаемые механизмами социального контроля и социализации. Упомянутые общественные целостности обладают равновесием, которое не исключает ни напряжений, ни внутренних кризисов, но преобразует институциональные механизмы в конкретную совокупность, привычной формой которой является национальное государство. Идея общества неотделима на самом деле от реальности национальных государств, а под центром или централизованной логикой общества почти всегда имеется в виду правовое государство в английской и французской традиции.

Такой образ общества в действительности более стар, чем социология, и происходит большей частью от XVI, XVII и XVIII веков. Именно тогда появилась идея института, Локк и Монтескье придали [34] институциональному образу общества его классическую форму. Социология возникает именно в тот час, когда подобная юридическая концепция общественного единства оказывается поставлена под вопрос эволюционизмом. В ходе XIX века развивается, особенно в лице Конта, Дюркгейма, Вебера, Тенниса, идея о неотвратимом подъеме современности, рационализации и секуляризации, разрушающем все, что было связано с сущностями, принадлежностями, верованиями. Западный мир — и с ним, вероятно, вся планета — включается, таким образом, в историческую борьбу Просвещения против традиции, инструментального рационализма против коммунитарной экспрессивности.

Доведенная до своей крайней черты подобная концепция разрушила бы саму идею общества, сведя его к обобщенному образу рынка. Однако идея общества развивалась, стремясь отыскать порядок в изменении, институционализировать новые ценности. Достоверно, что подобное развитие, благоприятствующее центральным странам и привилегированным общественным слоям, вызывало параллельно по мере удаления от очага индустриализации защитные реакции, апеллировавшие к культурной специфичности в противовес универсализму торгового и индустриального разума. Но такой призыв, если и мог питать историческую



мысль, не мог породить другие социологические концепции, так как он, рожденный потребностью защиты от господствующей модели эволюции, обратился к сущности и культуре, а не к формам экономической и общественной организации. Индустриальные общества сами пересечены мощными романтическими течениями, противостоящими бесчеловечной современности. Но общественная мысль, тем не менее, формируется в точке пересечения понятий института и эволюции. Именно так создавалась социология, и Огюст Конт потому стал творцом социологии, что он отстаивает одновременно и прогресс, и порядок.

На другом конце линии Толкотт Парсонс, создавший последнюю крупную концепцию классической социологии, опирался на эволюционистскую теорию, на сильно представленные в ней разные пары противоположностей между традицией и современностью, столь характерные для его анализа действия. В этом кульминационном пункте классической социологии порядок, в конечном счете, восторжествовал над изменением, общество приняло вид целого, стабильно и связно организованного вокруг принципов инструментальной рациональности. Несомненно, что всегда существует сопротивление этим ценностям и напряжение внутри общества. Но [35] это никоим образом не мешает триумфу социологии Парсонса или политической философии Липсета в эпоху, когда Соединенным Штатам, как кажется, безусловно принадлежит мировое первенство. Общество является, таким образом, той целостностью, которая образуется при опоре на рациональность, что единственно позволяет развиваться подсчетам, обмену, торговле и кроме того давать необходимые ответы на непрерывные изменения ситуаций.

## Разрушение

Несмотря на то что эта классическая социология всегда кем-то оспаривалась, она была тем не менее хорошо и прочно принята большинством, как это следует из учебников, использовавшихся в шестидесятые годы, а иногда даже и сегодня. Но сегодня классическая социология находится не только в состоянии кризиса, но и, по-видимому, неотвратимого упадка. Прежде чем искать направления, позволяющие социологии выйти из этого тупика, нужно уточнить те формы, какие приняло разложение классической социологии.

Первые и самые глубокие удары социологии как дисциплине были нанесены развитием теории организаций. Последняя могла показать, что всякая организация, далеко не выражая главного принципа рациональности, представляет только неустойчивый, слабо связанный и постоянно оспариваемый результат общественных отношений различной природы. И это происходит как в обстановке гражданской войны, так и в ходе богатых конфликтами переговорных процессов, причем, это верно для *всех*, формальных или неформальных, типов организации. Никакая другая теория социологии, кроме этой, не принесла столь решающих результатов в ходе пятидесятых и шестидесятых годов. Главные принципы классической социологии оказались серьезно задеты.

Позже или параллельно появилась еще более радикальная критика классической социологии, часто называемой функционалистской. Развивая до крайностей эволюционистские темы, она утверждала, что общественное поведение действующих лиц не может быть, фактически, объяснено их принадлежностью к системе, а связано скорее с их неустойчивой позицией и стратегией, меняющейся по воле непрерывных и многочисленных влияний. Это было настоящее уничтожение самой идеи общества, которое развивалось в двух различных направлениях. С одной стороны, на стратегическом уровне, который представляет действующих лиц в поиске оптимальных, по [36] возможности менее дорогих решений. Это элитистская концепция, ибо скоро выясняется, что игроки, находящиеся в наименее благоприятном положении, принуждаются к оборонительной стратегии, тогда как

более сильные или более богатые могут рисковать и проявить себя предприимчивыми и склонными к новшествам. С другой стороны, уничтожение идеи общества происходило в форме отождествления действующего лица с потребителем, стремящимся достигнуть на рынках наибольшего удовлетворения при наименьшей цене. Это выражение крайнего индивидуализма, стремящегося казаться совершенно либеральным, но являющегося подозрительным в благоприятствовании всем манипуляциям, к каким могут прибегнуть те, кто влияет на спрос.

В противоположность этим концепциям действующего лица сформировалась концепция системы, в которой отрицается его влияние на правило, на то, что не является даже законом. Уже давно Токвиль показал, как растворение принадлежностей и промежуточных звеньев могло одновременно вести и к социальному атомизму, и к всемогуществу государства. Естественно, таким образом, что кризис функционалистской социологии повлек за собой большое развитие критических и пессимистических анализов общественной организации, которая отныне воспринималась только как система репрессии, принудительной интеграции или исключения. Может показаться странным, что подобные мысли получили распространение в одной из тех редких частей мира, где абсолютистские государства не существуют.

Это явление не объясняется вовсе общими историческими причинами. Оно может быть лучше понято, если обратиться к позиции интеллектуалов, болезненно ощущающих исчезновение принципов, которые ранее объединяли общественный опыт и были основанием его ценностей, а также и ослабление прежних форм борьбы и соответствующих идеологий. Речь идет о течениях мысли, более или менее связанных с марксизмом, которые и привели к развитию вышеуказанной позиции. Но с этой точки зрения, между тем, общество являло собой не столько столкновение общественных классов, сколько пространство, которому присуща своя логика господства, утвердившаяся как под влиянием определенной идеологии, так и репрессивных аппаратов в строгом смысле слова. В этом плане наиболее влиятельными в современных французских общественных науках являются работы Мишеля Фуко, по крайней мере принадлежащие одной из фаз его творчества. В них он смог развить названные [37] темы с замечательной эрудицией, опираясь на обширные исторические исследования и проявляя редкую строгость мысли.

Между этими двумя противоположными, но взаимодополнительными формами кризиса социологии, — из которых одна представляет действующее лицо вне всякой системы, а другая — систему без действующего лица, — есть третье течение, свидетельствующее также о кризисе классической социологии и на этот раз сводящее объяснение поведений к игре взаимодействий. В социальном пространстве, не организованном более институциональными и интериоризированными нормами, действующие лица становятся актерами в точном смысле слова. Они играют социальные роли, не имея потребности в них верить, они стоят друг против друга, стремясь несомненно к своим преимуществам, но часто поддерживая также отношения, основанные на недоразумении, уклонении и т. д. Успех этнометодологии и блестящего труда Эрвинга Гоффмана (В особенности Erving Goffman. *The Presentation of Self in Everyday Life*, New York, Doubleday, 1959. Французский перевод «*La mise en scene de la vie quotidienne*», Minuit, 1973) хорошо показывает эту атмосферу постфункционалистского разочарования.

Есть три способа устранить идею общества как центральной системы регуляции институтов и поведений: считать, что действующее лицо подвижно единственно поиском преимуществ или удовольствий, показывать всемогущество слепого и абсолютного порядка, наблюдать с некоторым цинизмом человеческую комедию. Закат идеи общества имеет глубокие причины. Если правда, что класси-

ческая социология возникла из соединения понятий института и эволюции, то очевидно, что нужно отнести ее кризис на счет кризиса этих двух основных понятий.

Кризис эволюционизма слишком очевиден. Общественная мысль европейского XIX века, по крайней мере в основной своей линии, отождествляла себя с современностью, со свойственной ей рационализацией и секуляризацией, то есть с постепенным уничтожением всех принципов, противившихся изменению, общественной дифференциации и автономии институтов. Такой образ современности воплощен прежде всего в идее рынка, взятого не только в экономическом смысле, но и для обозначения почти всех других областей общественной жизни. Экономическая жизнь, в которой сосредоточены в индустриальную эпоху самые главные принципы изменений, является сферой рациональности и свободна от всякого внешнего влияния. В силу этого она оказалась центром либеральной мысли. [38] Но по мере того как индустриализация достигает новых стран, подобная автономия экономических институтов и рынка оказывается все менее возможной: формы экономического и социального изменения оказываются крепко связанными с политическими процессами, с культурной спецификой. Идея линейной эволюции, состоящей из последовательных этапов, которые должны быть всегда пройдены в одном и том же порядке, уступает, в конечном счете, место концепциям, принимающим возможность различных путей экономической трансформации. Некоторые школы мысли идут вплоть до отрицания самой идеи развития, которая им кажется чересчур перегруженной принципом единства, опасность коего они подчеркивают. Они предпочитают утверждать тотальное различие способов экономической и социальной трансформации.

С другой стороны, идея институциональной системы, располагающейся вокруг некоего центра, также переживает кризис. Трудно, например, сводить право труда к особому случаю предшествовавших ему общих юридических принципов. Все разновидности политических процессов развиваются в многочисленных секторах общества очень мало скоординированным образом. Плюс к этому, страны, которые именно изобрели и развили классическую социологию, утрачивают по большей части их характер национальных государств. Западная Европа, без сомнения, не знала в течение полувека более глубокой трансформации, чем это пятное движение национального государства, бывшего ранее главной рамкой индивидуального и коллективного опыта. Эта идея подтверждается и в случае формирующихся, например, в Латинской Америке национальных государств. Несмотря на некоторую видимость обратного порядка, общественная мысль там имеет, по большей части, функционалистский характер и приписывает центральное значение механизмам национальной и общественной интеграции или, наоборот, маргинализации.

### Созидание

Тщетно стремиться вернуться назад с тем, чтобы придать новую жизнь идее общества. Но можно занять и совершенно другую позицию, отказываясь ограничиваться в современной общественной мысли изучением тех форм, в которых проходило разрушение идеи общества. Ведь когда начинается кризис некоего типа общества, то кажется, что его действующие лица и их общая сцена разлагаются, что существуют только, с одной стороны, индивиды, с другой, [39] безличный порядок. Но такая ситуация, если она предлагается для общего социологического анализа, свидетельствует только, может быть, о конце определенного исторического периода. Поэтому, прежде чем предпринять новый социологический анализ, нужно все прояснить, сформулировать исторические предпосылки своей теоретической позиции.

Я, со своей стороны, думаю, что мы уходим от индустриального общества и присущих ему способов мышления, но уходим не для того, чтобы прийти к новому равновесию, к примирению общества и природы, о котором мечтают некоторые, и не для того, чтобы войти в новую общественную ситуацию, характеризующую только изменениями. Я думаю, напротив, что мы входим в общественную ситуацию, определяемую растущей способностью коллективов воздействовать на самих себя, особенно там, где власть не ограничивается предписанием форм труда, но также и может быть прежде всего, предписывает род жизни, поведения, потребностей. Можно было бы сказать, что это общество сверхиндустриальное в том смысле, что большие организации распространяют свое влияние не только на область производства, но почти на все аспекты общественной жизни от информации до здоровья, от научных исследований до урбанизации.

Если эта гипотеза верна, то нужно ожидать почти повсюду появления новых действующих лиц и новых общественных конфликтов. Тогда задача социологии видится в том, чтобы изучать эти действующие лица и конфликты, что предписывает ей совершенно отказаться от поиска «законов общественной жизни», какой бы природы они не были — законами разума или законами прибыли. Общественная организация должна теперь быть понята совершенно иначе, а именно, как результат конфликтных отношений между общественными силами, борющимися за контроль над моделями, в согласии с которыми коллектив организует нормативным образом отношения со своим окружением. Я называю историчностью как раз совокупность этих культурных моделей, управляющих общественной практикой. Но для этого они должны пройти через общественные отношения, воплощающие всегда властную иерархию. Подобная концепция запрещает центрировать анализ на идее общества. Аналогично теориям организации, она признает за социальным целым или какой-либо из его частей только слабую степень стабильности и даже связности. Она, конечно, не рассматривает общественную действительность как чистую систему совершенно беспорядочных [40] потоков. Напротив, она признает существование некоего центра, исходя из которого все и соединяется. Но этот центр не является ни волей, ни властью, он является целью, историчностью как целью отношений и борьбы между теми, кого всегда было принято называть общественными классами. Отношения, которые устанавливаются в институциональной системе или на более ограниченном уровне — в организационных системах, управляются, таким образом, состоянием данной историчности, отношениями господства и оспаривания, существующими между противоположными классами. Согласно этой концепции, в центре социологии оказывается понятие *общественного движения*, термин, который не должен означать любую силу изменений, или любой тип коллективного действия, но предназначается для обозначения действительно центральных конфликтов, то есть тех, которые ставят под сомнение общественный контроль над историчностью, над моделями создания отношений между конкретным социальным целым, могущим быть названным из соображений удобства обществом, и его окружением. Упомянутое «общественное движение» является новым понятием по отношению ко всему тому, что могли бы назвать «общественными силами», будь то в рамках эволюции (силы прогресса или сопротивления прогрессу) или функционирования данной системы. Когда говорят об отклонении от нормы и тенденции восстановления разрушенного общественного элемента или о внутренних противоречиях некоей системы господства, то типы коллективного поведения представляются следствиями механизмов, смысл которых остается внешним для самих действующих лиц и их отношений. Примечательно к тому же, что в наших индустриальных обществах, где рабочее движение играло постоянно такую важную роль, ему не было посвящено вплоть до недавнего времени почти никакого углубленного исследования. В нем видели

новое воплощение вековых сил, толкавших человека к поиску освобождения, или даже простое проявление присущих капитализму противоречий. Замкнутое внутри капитализма движение оставалось ограниченным, так как не могло избавиться от системы этих противоречий, будь то в силу знаний революционных интеллектуалов или благодаря всемогущему государству.

Идея общественного движения является, таким образом, новой, она вынуждает считаться с тем фактом, что действующие лица не находятся лишь под влиянием ситуаций, но и производят эти последние. Они определяются одновременно и своими культурными ориентациями, и общественными конфликтами, в которые они [41] включены. Под культурными ориентациями не имеются в виду ценности, противоположные ценностям противника, но напротив, общие с ним и определяющие ставку конфликтов. Последние не являются пустыми играми, так как они стремятся к трансформации организационных и институциональных форм коллективной жизни. Подобное изменение поля социологии и подобная трактовка исчезновения идеи общества имеют, может быть, одно более важное, чем все другие, следствие. Я говорил, что идея общества не была отделена от формирования и развития национальных государств. Переход от классической социологии к социологии действия сопровождается отделением друг от друга общественной жизни и государства. Если общественная жизнь теряет свое единство, центр, свои механизмы институционализации, контроля и социализации, то государство не перестает укрепляться. К общественной жизни нельзя больше применить образ Единого, последний даже оборачивается против нее. Единое могло быть отождествлено с метасоциальными гарантом общественного порядка, будь то Бог, Разум или История. Но сегодня Единое не является больше метасоциальным, оно стремится заменить собой общественную жизнь, раздавить социальные отношения, разнообразие поведений и автономию типов социальной деятельности. На руинах идеи общества развиваются мгновенно и в конкуренции друг с другом: историчность, то есть способность обществ производить самих себя, и тоталитарные государства, которые налагают принципы единства, разрушающие все социальные отношения.

Ошибочно, таким образом, видеть в возвращении действующего лица чудесное появление человека, ставшего почти богом, располагающего огромными возможностями производства и трансформации.

Отсюда следует также, если не еще больше, развитие нового типа государств: не прежних деспотических государств, не «супердействующих лиц», предрасположенных к увеличению их мощи, но *тоталитарных* государств, главная функция которых заключается в том, чтобы вырвать с корнем всякую общественную жизнь к наибольшей выгоде тех, кто сосредоточивает в своих руках власть и хочет управлять временем и пространством, будущим и всей планетой. Именно таким дьявольским образом произошло исчезновение обществ, например, в Веймарской Германии, где сложное, пронизанное общественными движениями, политическими процессами и организационными изменениями общество было поглощено адом [42] нацизма, или в России, где постреволюционное советское общество задохнулось, уступив место сталинскому тоталитаризму.

Отсюда вытекают для социологии сегодня две главные конкретные задачи. Первая, самая важная, касается мирового уровня и заключается в поиске и поддержке всех форм возрождения общественной жизни в тоталитарных государствах, усилия которых по разрушению общества никогда не были ни полными, ни окончательными. Другая большая задача социологии заключается в необходимости обнаружить и проанализировать там, где механизмы функционирования и социального изменения сохранили достаточно автономии по отношению к государственной власти, новые действующие лица, новые конфликты и особенно новые

цели. Это требует зачастую трудного разрыва с прежними способами мышления, поскольку велик соблазн адаптировать по возможности вчерашний язык к сегодняшним реалиям. Так же как в прошлом веке, долго стремились анализировать конфликты, связанные с индустриализацией и, следовательно, понять рабочее движение в терминах, заимствованных у Французской революции — только Парижская Коммуна положила конец этому архаизму — и мы пытаемся еще очень часто анализировать реалии, присущие постиндустриальным обществам, с помощью понятий, выкованных для изучения индустриальных обществ. Нам особенно нужно порвать с тем объективизмом, к которому мы так привыкли, с тем принципом, который нам казался центральным и состоял в соотнесении поведения действующего лица прежде всего с его позицией в общественной системе. Однако порвать с этим способом анализа нужно, поведение действующего лица должно теперь быть понято посредством осознания того места, какое оно занимает в общественных отношениях, ориентированных на производство историчности. Обе формулы могут показаться близкими, но это не так. Ибо в первом случае отделяют смысл от сознания, тогда как во втором утверждают, что смысл должен быть понят, исходя из самого нормативно ориентированного действия, то есть посредством интерпретации сознания, но без разрыва с ним.

Не настало ли время выйти из кризиса социологии? Отдадим должное великим творениям, которые сделали из классической социологии, особенно от Дюркгейма до Парсонса, внушительный интеллектуальный монумент, но при этом имея в виду создать теперь социологию, которая обратилась бы к проблемам нашего времени. До «науки об обществах» существовало «сравнительное изучение цивилизаций» и даже «интерпретация культур». Так как сегодня [43] исчезает историческая ситуация, в которой сформировалась наука об обществах, то нужно создать социологию действия. Это задача тем более необходимая, что общественной жизни постоянно угрожают тоталитарные силы, а новые общественные движения, со своей стороны, не могут развиваться, пока политические агенты и особенно интеллектуалы предписывают им формирование в определенных институциональных каналах и предлагают им язык, унаследованный от минувшего прошлого.

## **Кризис современности**

### **Эволюционизм**

Социология возникла как особая форма представления об общественной жизни, и именно сегодня, когда она теряет объяснительную силу, стало возможным точно охарактеризовать ее историю. Данное представление об общественной жизни сложилось в ходе поиска решения проблемы, которую формулировали все классические социологи и особенно ясно Э. Дюркгейм. Проблема в следующем: если современность представляет изменение, то как может существовать стабильное современное общество? Если модернизация представляет переход от партикуляризма к универсализму, — и особенно, от верований к науке, — то как могут существовать особые общества, которые покоятся на особых верованиях, ценностях и нормах? В силу сказанного видно, что центральным в социологическом представлении об общественной жизни элементом является идея современности с ее эволюционистской составляющей. Этим оно противостоит другим типам представлений об общественной жизни. В особенности в XVII и XVIII веках основной проблемой было понять, каким образом порядок может подчинить себе беспорядок, частные интересы и агрессивность. В то, что мы называем сегодня социологией, прежде всего О. Конт ввел идею о том, что современное общество не имеет

специфического содержания, оно «позитивно», определяется способностью применять универсальные принципы Разума ко всем особым ситуациям. Это общество открытое и свободное, но в то же время способное породить совершенный и абсолютный порядок, налагаемый государственной властью, каковая идентифицируется с наукой и с естественными законами исторической эволюции. Заявленные Толкоттом Парсонсом «pattern variables» («изменчивые паттерны» — М. Г.), ясно и систематично выражающие общую [44] дефиницию современности, помогают понять, почему современная социология в целях объяснения наблюдаемых ею объектов начинает с включения их в процесс, ведущий от традиции к современности, от закрытого общества к открытому, от общества воспроизводства к обществу производства.

Эту концепцию развили многие общественные мыслители, доведя ее до крайних последствий. Маркс считал, что историческая эволюция должна продолжиться и благодаря социальной борьбе привести к своего рода постсоциальному существованию, где потребительная стоимость, удовольствие, многостороннее развитие индивидов в конечном счете заменят присущие общественной жизни правила и отношения господства. Но уже до него О. Конт изображал свое позитивное общество в качестве научного. И те, кого в наше время называют функционалистами, постоянно соотносятся с универсальной моделью современного общества и характеризуют положение в большинстве стран теми помехами, которые препятствуют им развиваться в соответствии с универсальной моделью современности, наилучшим образом которой для них остаются передовые западные общества.

Эта эволюционистская концепция наделена чрезвычайной силой, которая сделала из нее один из фундаментов западной гегемонии в отношении остального мира. Предполагалось при этом, что самые современные страны не отстаивают никакого особого интереса, а напротив, указывают другим тот путь, которым они должны идти. Еще сегодня, когда общественная мысль тех стран, которые сами себя считают современными, рассматривает остальной мир, она делит его на страны позднего капитализма, слаборазвитые страны и, наконец, коммунистические страны, перспективой которых является неизбежное слияние с современными западными странами. Считается при этом, что в мире утвердится универсальная модель, несмотря на то, что многие страны следуют явно другими путями эволюции.

Внутри этого общего способа мышления можно выделить две школы, ориентируясь на то, что они считают помехой для триумфа современности. Для одной из них разум сталкивается с традиционалистскими и иррациональными формами поведения народа, для другой — главную помеху для модернизации составляет иррациональность правящих классов, озабоченных единственно своими прибылями и привилегиями. Это так называемые типы «правой» и «левой» социологии, которые, однако, точно выражают ту же самую классическую модель, какой была «центристская» социология Дюркгейма. [45]

### **Постсовременное общество?**

Между тем, последние двадцать лет понятие современности сильно атакуется вплоть до того, что выдвинуты формулировки «постсовременного» общества и даже «постисторического». Распространилась идея, что после нескольких веков резкого «взлета» (take-off) наши общества достигли уровня, когда им нужно снова больше заботиться о равновесии, чем об изменении. В этом заключаются причины того интереса, который столько умов испытывают к антропологическим исследованиям. Общества, изучаемые антропологом, вынуждены, с одной стороны, заботиться об условиях своего выживания, с другой, задаваться вопросом о своих истоках, — вот две характеристики, которые прямо противостоят направленности

современных обществ. Если посмотреть еще глубже, то станет ясно, что антропологи чужды всякой форме историцизма и любят противопоставлять большое разнообразие так называемых традиционных культур однообразию и обеднению современной цивилизации.

Такая радикальная критика идет иногда вплоть до того, что призывает к пятному движению общества к «общине» и к разрушению всех политических агентов, обеспечивающих интеграцию и унификацию общественной жизни. Это соответствует некоторым важным тенденциям в самих наших странах, где наблюдается развитие все более и более различных друг в отношении друга культур: молодежной, «коммунитарной» или «маргинальной», культуры «третьего возраста», гомосексуальной и т. д. Не кажется ли, что сегодня после краткого, но интенсивного периода разрушения «других» культур — локальных, региональных, этнических, вновь появляется почти повсюду разнообразие.

Радикальная критика, о которой идет речь, во многом благоприятствовала в ходе пятидесятых и шестидесятых годов «контркультурным» объединениям и их бунту. Тем не менее, она остается скорее стимулирующей интеллектуально, чем исторически важной, и значимость подобных контр-течений не должна переоцениваться. Главная тенденция современных обществ всегда направлена на укрепление и увеличивающуюся концентрацию их способности воздействия на самих себя. Те, кто возвещают «постмодернистскую» эпоху и замену форм господства различиями, серьезно недооценивают значимость того факта, что современные общества реинвестируют все большую, по сравнению с предшествующими обществами, часть [46] их продукта таким образом, что общественные конфликты из-за управления и присвоения получающихся от этих инвестиций новых продуктов могут лишь расширяться и развиваться. Таким образом, нет общего кризиса современности, а есть кризис ограниченный и между тем достаточно глубокий, указывающий на кое-что важное, а именно: на исчезновение социального эволюционизма, той идеи, согласно которой существует «естественный» процесс модернизации, управляемый «законами» исторического развития, способными дать отчет о всех аспектах общественной жизни и ее трансформации. Мы присутствуем тут при упадке материалистической общественной мысли, господствовавшей начиная с XIX века и о которой еще свидетельствуют «геологические» представления об общественной жизни, когда экономические и технологические ресурсы рассматриваются как самый глубокий «слой», а формы политической организации и идеологические представления как более поверхностные страты.

Технология и рационализация не кажутся больше сегодня силами освобождения, а скорее главными ставками споров и битв в современных обществах. Так уже было отчасти в индустриальных обществах, когда механизация стала ставкой конфликта между рабочим движением и предпринимателями. Но тогда рабочее движение апеллировало к развитию производительных сил в противовес капиталистическому господству, придерживаясь редко защищаемой теперь концепции «прогрессизма», когда социальные противники отстаивают так называемые альтернативные, целиком противоположные концепции общества. Идея постсовременного общества является, значит, только знаком кризиса индустриальной культуры. Напротив, постиндустриальная культура является и сверхсовременной, и представляет в то же время разрыв с теорией современности, господствовавшей над исторической и социологической мыслью в XIX веке.

### **Единство или различие общественной жизни?**

Второй важный аспект кризиса классического представления об общественной жизни касается роли государства. Отождествление общества с государством объяснялось тем, что последнее играло существенную роль в интеграции: первые



национальные государства — Англия, Швеция, Франция — сначала были гарантами социального мира и свободной циркуляции личностей, благ и идей. Сегодня [47] государство стало «активной» властью, которой выпало управлять не только экономической деятельностью, но и многими сторонами общественной жизни. Из юриста оно стало экономистом, сохраняя свои военные и дипломатические атрибуты. Эта эволюция имеет то преимущество, что роль государства не сводится, как некогда, к полицейским и юридическим функциям и потому оно не является более лишь репрессивным органом. Но параллельно, и это главный пункт, дистанция между государством и обществом не перестает увеличиваться.

Речь идет здесь не о том отделении государства и гражданского общества, которое существовало в XIX веке. Государство, напротив, играет все более и более важную экономическую роль, между тем как общественная жизнь состоит из изменчивых форм поведения, интеллектуальных дебатов, общественных конфликтов. Национальное единство общества является все более «практическим» и его материальная интеграция увеличивается, тогда как действующие лица общества, все значительнее отличающиеся между собой, живут более автономно, будучи далеки от государственных интересов и идеологий. Когда государство превышает свою роль общественного предпринимателя и действующего лица международных отношений, когда оно вмешивается в общественную жизнь, то его вмешательство воспринимается как скандальное и отбрасывается как реакционное и авторитарное. Государство не является теперь принципом единства общественной жизни. Его принимают как руководителя предприятия, бюрократа или как тоталитарную власть, но не в качестве агента интеграции действующих лиц общества. Вот почему национальное чувство сегодня гораздо слабее, особенно в Западной Европе, чем полвека назад. Плоды культуры становятся все более интернациональными, все возрастающее число индивидов путешествуют вокруг земного шара, идеи и материальные блага циркулируют с легкостью, еще немыслимой два поколения назад. Параллельно, со всех сторон появляются коллективные движения, которые отрицают всякую возможность для государства вмешиваться в общественную жизнь. Чрезвычайной степени это разъединение достигло в такой стране, как Федеративная Германия. Немецкая молодежь, полная ненависти к нацистскому государству и враждебности к молчанию старших в послевоенный период, массово участвует в пацифистском движении, имеющем разные значения, но несомненно выражающем глубокий кризис, поразивший сегодня национальное государство. Франция, вероятно, та из западноевропейских стран, в которой названный [48] кризис наименее серьезен. Это позволило ей избежать ряда политических кризисов и даже, может быть, политического насилия, но было оплачено высокой ценой. А именно, тем, что были задушены новые формы опыта, выражения и протеста, которые составляют, по всей вероятности, важную часть постиндустриальной общественной и культурной жизни.

Все же общий упадок национального государства привел более чем одного аналитика к идее о том, что в обществе нашего типа исчез всякий принцип единства проблем и социальных конфликтов. Уже в индустриальном обществе образ единого рабочего движения был создан, говорят они, только ценой акцента на политическом действии и социалистических идеях. В странах, где рабочее движение не было связано с политической борьбой, например, в Соединенных Штатах, оно никогда не завоевывало центральной роли на общественной сцене. Проблемы этнических меньшинств оставались там всегда столь же важными, как и экономический классовый конфликт. Нельзя ли сказать, что этот американский опыт сегодня распространяется и что различные социальные конфликты становятся все более автономными в отношении друг друга? Эта гипотеза кажется окрепшей вследствие поражения левацкого движения, главная теория которого заключалась в

том, что все виды конфликтов являются ничем иным, как особыми *фронтами* общей антикапиталистической борьбы, отождествляемой с антиимпериалистическим действием.

Данный вопрос заслуживает центрального места в социологических размышлениях и исследованиях, относящихся к эволюции западных индустриальных обществ. Вопрос в том, утратили ли они действительно всякий принцип единства, способны ли они еще организовать вокруг центрального общественного движения?

В противовес плюралистической теории, которая признает только формальное, связанное с институциональными процедурами единство в социальных проблемах и конфликтах, я, со своей стороны, защищаю идею, что, напротив, в высоко индустриализованных странах конфликты и споры сами собой, автономно достигают некоторого единства, не обязанного вовсе никакому внешнему принципу вроде государственного вмешательства. Это растущее единство социальных проблем, конечно, имеет в качестве своей противоположности растущее отделение от политических проблем, то есть тех, которые связаны с контролем процесса исторического изменения. Но факт тот, что социальные конфликты все более и более четко организуются вокруг определенной общественной цели, а именно, употребления, [49] которое общество делает из своей способности воздействовать на самого себя, что я выше определил как историчность. Идея общества получает вследствие этого новый смысл, отныне гораздо менее определяемый институтами, центральной властью, ценностями или постоянными правилами общественной организации, чем той областью споров и конфликтов, которая имеет в качестве глобальной цели общественное употребление символических благ, массово производимых постиндустриальным обществом. Понятно, что эта область перестала быть равной по объему какому-либо национальному государству, отныне она может находиться как на сверхнациональном, так и на инфранациональном уровнях.

### Разделение общества и государства

Из этого с очевидностью следует, что ни одно государство не могло бы отныне считаться представителем современности, прогресса и т. д. В силу этого неизбежен оказывается раскол между политической историей и собственно социологией, то есть теми областями исследования, которые были столь тесно связаны в классической социологии. Самым примечательным проявлением этого разъединения между способом функционирования общества и способом его изменения является японский опыт, особенно в восприятии американцев, в глазах которых он представляет чудовищный вызов. Если следовать повсеместно принятой концепции современности, то американское общество можно считать гораздо более *современным*, чем японское. В то же время следует признать второе более *модернизаторским*, чем первое, так как рассматриваемые за долгий послевоенный период экспансии темпы его роста в четыре раза выше, чем в Соединенных Штатах (впрочем, наполовину ниже, чем в самой Западной Европе). Американцы сами себя отождествляют и отождествляются другими с образом современности, такая точка зрения приемлема и сегодня, но при неперемennom условии разделения современности и модернизации, понятий, неразрывно связанных в классической модели социологии.

Бисмарковская Германия, Япония эры Мейдзи или Франция послевоенного периода управлялись традиционалистскими и одновременно модернизаторскими элитами, а не группами, которые ориентированы на рынок и которые можно считать самыми современными. Эти элиты гораздо более вдохновлялись волей к обеспечению национальной независимости, к созданию настоящего [50] государства или к уничтожению переносимого унижения, а не идеалом рационализации.

Именно таким образом Япония создала высокоразвитую промышленность, используя и распространяя такие способы экономической и общественной организации, которые пророками современности считаются традиционалистскими и даже архаическими. Это вовсе не доказывает, что такая-то модель развития выше, чем другая, но заставляет провести четкое различие между двумя родами проблем, относящимися, с одной стороны, к функционированию данного типа общественной организации, с другой, к исторической трансформации страны, или, если говорить конкретнее, различие проблем индустриального общества и проблем индустриализации.

Политическая жизнь все более и более отождествляется с управлением экономикой, а общественная жизнь — с областью культуры и проблемами личности. Вследствие этого традиционное поле социологии разделяется. С одной стороны, мы присутствуем при оживлении политической теории, которую долгое время ограничивала идея, что политические институты являются только отражением общественных сил и интересов. С другой стороны, общественная жизнь все менее и менее анализируется как система, управляемая структурой и внутренними законами организации. Она представляется сетью общественных отношений действующих лиц, руководствующихся по крайней мере столько же собственными проектами и стратегиями, сколько мотивами, продиктованными их ролями и статусами.

Самым очевидным результатом подобного разделения является ослабление представительства политических учреждений. Даже в демократических странах углубляется дистанция между политическими действующими лицами, ищущими способа представления, и политическими силами, предназначенными их представлять. Политические партии все более и более воспринимаются как «политические предприятия», тогда как общественные требования стремятся получить более прямое выражение благодаря отделенным от партий общественным движениям.

К устаревшему образу политической жизни принадлежит стремление определять политические идеи и силы в качестве форм выражения групп и экономических интересов, общественных страстей и идей. Нет больше политических страстей, тогда как в период Французской революции 1848 года или Советской революции, напротив, бывали периоды, во время которых все страсти были политическими. [51]

## Развитие

В ходе быстрого роста западных индустриальных стран анализ современности был более важен, чем изучение индустриализации. Даже студенческие выступления не столько ориентировались на образ другого будущего, сколько атаковали общество изнутри. Их главной целью была не подготовка воспламеняемого завтрашнего дня, а жизнь, которая бы проходила иначе уже сегодня. Напротив, в остальной части мира более важными, чем внутренние проблемы некоего типа обществ, стали проблемы развития, индустриализации, национального освобождения. Итак, классическая социология ограничивалась изучением передовых западных обществ, оставив изучение других антропологам. Сегодня социология должна изучать три мира: к первому принадлежат передовые индустриальные общества Запада, ко второму — коммунистические страны, к третьему — страны Третьего Мира.

Социология далека еще от четкого понимания этого требования, несмотря на весь интерес некоторых больших сравнительных исследований (особенно Барингтона Мура и Рейхарда Бендикса) или исследований марксистской ориентации, например, Иммануэля Валлерстайна (Barrington Moore Jr. *Social Origins of Dicta-*

torship and Democracy. Boston, 1966. Французский перевод Maspero; Reinhard Bendix. Nation Building and Citizenship. New York, Wiley, 1975; Immanuel Wallerstein. Capitalisme et économie-monde. Flammarion, 1980). Мы называем еще социологами людей, которые изучают Европу или Северную Америку, и африканистами — тех, кто изучает Африку. Но сегодня те теории модернизации, которые выстраивают страны на общей лестнице модернизации, кажется, столь слепы к формам, путям и механизмам исторической трансформации, что в них можно видеть идеологическое выражение гегемонии Севера над Югом. В противовес материалистическому эволюционизму Запада, в Третьем Мире все чаще заявляет о себе волюнтаристский и идеалистический культурализм. Но его интеллектуальные и политические последствия столь же негативны, сколь и гегемония западной модели. Подобная противоположность двух идеологий была уже представлена в Европе в XIX веке: с одной стороны, английский или французский эволюционизм, с другой, немецкий культурный историцизм. Сегодня вторая из этих моделей завоевала не только страны позднего капитализма, вроде Японии или даже Бразилии и Мексики, но еще и большую часть Третьего Мира, между тем как англо-французский материализм доминирует в коммунистическом мире. Анализ [52] социальной системы заменен в Третьем Мире историей страны, а последняя подчинена идее национальной или региональной природы. Внутренние конфликты кажутся подчиненными внешним конфликтам национального и иностранного. Национальная независимость представляется гораздо более важной целью, чем свобода или равенство.

Сегодня, в конце XX века, кажется, что во всех частях мира государство — особенно коммунистическое или националистическое, но также и государство-предприниматель в больших капиталистических странах — заняло всю общественную сцену. Его господство кажется столь абсолютным, что многие спрашивают себя, не закончилась ли эра гражданских обществ и не входим ли мы снова в эпоху, когда господствует столкновение империй. Вот почему самым сильным стремлением социологов должно быть сегодня доказательство, что и в самых могучих империях социальная жизнь не исчезла, что она может возродиться повсюду и не может быть сведена к процессу исторического развития. И наоборот, необходимо доказать, что проблемы исторического существования страны не могут сводиться к внутренним социальным проблемам, то есть, что не может существовать целиком эндогенного процесса исторического изменения.

## Имеет ли центр социальная жизнь?

Относительно мира, где доминируют война, государственный национализм, ускоренная индустриализация, где передача социокультурного наследия становится все более проблематичной по мере того как увеличивается гетерогенность национальных обществ, возникает вопрос, а существует ли еще в нем место для идеи о некоторой стабильности общественной системы, объединенной вокруг центрального принципа, независимо от того, состоит ли последний в верованиях, ценностях, фундаментальных правах или, напротив, в гегемонии господствующего класса или вездесущего государства? Не нужно ли, наоборот, воздать честь греческому афоризму *panta rhei*, «все изменяется»? Или возможно выдвинуть новое определение единства общественной системы?

Социология организаций и решений составляет сегодня основную форму социологии изменений, противостоящей классической социологии, бывшей теорией порядка. Ее главная идея заключается в [53] том, что общество является системой без центра, где происходят только ограниченные изменения вследствие адаптации к видоизменениям окружающей среды или разрешения внутренних напря-

жений. Порывая с понятием рационализации, введенным инженерами типа Тэйлора или Форда, эта социология говорит об ограниченной рациональности, то есть о стратегии, или, как Мишель Крозье (J. G. March, H. A. Simon. Organizations. New York, Wiley, 1958. Французский перевод — Les Organisations, Dunod, 1965. M. Crozier, E. Friedberg. L'acteur et le systeme, Seuil, 1977), о конкуренции за контроль над зонами недоверности, где позиция действующих лиц остается неясной. Согласно этой теории, действующие лица общества стремятся максимизировать свои интересы, но они делают это в окружающей среде, которой они не знают и которую контролируют лишь частично. В результате осуществляются изменения от случая к случаю, которые не оставляют места какому-либо принципу единства общественной жизни, идет ли речь о главных ценностях или об абсолютном господстве.

Близкой к этой тенденции является школа индустриальных отношений, особенно американская и английская. Для Кларка Керра или Джона Данлопа, как и для Аллана Фландерса и Хью Клегга (Clark Kerr et al. Industrialism and Industrial Man. Cambridge, Harvard University Press, 1960; John T. Dunlop. Industrial Relations Systems. New York, Holt, 1958; A. Flanders & H. A. Clegg, ed. The System of Industrial Relations in Great Britain. Oxford, Blackwell. 1960), положение наемного труда глубоко изменилось вследствие коллективных переговоров и обсуждения требований. В результате как понятие рационализации, так и понятие классовой борьбы стали односторонними объяснительными принципами, которые больше выражают употребляемые в социальных конфликтах идеологии, чем эффективные процессы институционализации этих конфликтов.

Наконец, значение, придаваемое, особенно в Соединенных Штатах, проблемам меньшинств, сопряжено с теми же принципами анализа. Отличие в том, что эта тема часто связана с радикальными позициями, тогда как теории организации чаще всего сопровождаются либеральным или откровенно консервативным выбором, а изучение коллективных переговоров является скорее выражением центристской позиции. Во всех трех случаях центральная для классической социологии вера во внутренний процесс модернизации оказывается поставлена под вопрос и, в конечном счете, отброшена. В силу этого никакое действующее лицо не может считаться носителем [54] рациональности, каждое из них защищает определенные интересы и подчиняется групповым идентификациям, соответствующим как оборонительным, так и наступательным стратегиям. Главный общий пункт этих различных представлений об общественной жизни состоит в том, что все структурные проблемы кажутся исчезнувшими в пользу только одного типа действительности: изменения, или, скорее, изменений. Теоретики, анализирующие современную ситуацию в терминах кризиса и управления им, дальше разрушают всякий центральный принцип общественной жизни.

### **Возвращение субъекта**

Таково заключение, к которому, как кажется, ведет кризис идеи общества: наблюдение за нашими собственными обществами не свидетельствует ли о том, что они все более теряют всякое единство, обогащаясь разнообразием? После периода интеграции или ассимиляции меньшинств наши страны принимают все возрастающую степень разнообразия и дезинтеграции. В Западной Европе эта тенденция, кажется, развита до чрезвычайности, там национальные государства утрачивают свои свойства государств, так как они не могут более принимать фундаментальные решения, касающиеся войны и мира, и даже большая часть самых важных экономических решений принадлежит не им. Параллельно этому в остальной части мира в XX веке господствовали модернизаторские и авторитарные государства, подобно тому как XIX век был отмечен господством националь-

ной буржуазии, особенно английской. Коммунистические и националистические режимы утверждают единство собственной идеологии и собственных политических целей, так что кажется, что больше нет ничего, кроме диверсифицированных и даже дезинтегрированных обществ и авторитарных империй.

Главный смысл прагматической концепции общества заключается в разрушении родившейся в XVIII веке иллюзии о естественном или научном обществе, управляемом Разумом и интересом. Созданный ею образ открытого, утратившего связь с почвой, постоянно меняющегося общества обнаруживает по контрасту, что упоминавшаяся нами вначале эволюционистская концепция общества подчиняла еще общественную жизнь некоему внешнему принципу единства, смыслу Истории. «Хорошее общество» не было чисто гражданским, оно представляло еще смесь общественной интеграции и исторического прогресса. Оно не разделяло между собой государства, главного агента [55] исторических трансформаций, и гражданского общества, то есть систему общественных отношений. Вот почему понятие института долгое время имело центральное значение в классической социологии: оно одновременно принадлежит и к области общественной жизни, и к области государства. Одним словом, вышеупомянутый критический анализ показал, что классический образ общества не содержал условий интеграции общественной системы, а скорее представлял нам телеологический образ исторического изменения. Вследствие этого в центр анализа были поставлены не столько ценности модернизации, сколько деятельность государства, взятого в качестве агента метасоциального принципа, а именно, смысла истории.

Но может быть можно противопоставить классической идее общества другой тип критики? Вместо того чтобы говорить, что модернизация уничтожает всякий принцип единства в общественной жизни, заменяя структуру изменением, а ценности стратегиями, не нужно ли признать, что старые принципы единства общественной жизни (принципы, всегда бывшие некоторым образом метасоциальными) мало-помалу уступают место новому принципу единства? Который состоит в растущей способности человеческих обществ воздействовать на самих себя, то есть увеличивать дистанцию между производством и воспроизводством общественной жизни? В результате единство современных обществ должно бы определяться не как переход от культуры к природе, или от страсти к интересу, а как освобождение человеческой способности к творчеству.

Ново здесь то, что единство общественной жизни не проистекает более из идеи общества. Напротив, общество рассматривается теперь скорее как совокупность правил, обычаев, привилегий, против которых направлены индивидуальные и коллективные творческие усилия. Согласно этой концепции, все метасоциальные принципы единства общественной жизни заменены свершениями человеческого труда и, шире, *свободы*. Если классическая социология придавала центральное значение рационализации и модернизации, то теперь оно возвращается к свободе и даже, если смотреть еще глубже, к понятию *субъекта*, поскольку он представляет способность людей одновременно освобождаться и от трансцендентных принципов, и от коммунитарных правил. Понятие субъекта, сохраняющее еще материалистическую коннотацию в эпоху Ренессанса, начиная с Реформы отождествляется с идеей сознания, значение которого не перестает усиливаться в течение XIX века. Человечество в результате не представляется более хозяином Разума и Природы, но творцом [56] Себя. Эта идея привела к рождению одного из наиболее типичных литературных жанров Запада: *Bildungsroman* от Гете до Флобера, от Томаса Манна до Жида, от Хемингуэя до Стайрона. Акцент на субъекте и сознании составляет целиком секуляризованный принцип современного единства общественной жизни, который может определяться отныне независимо от вмешательства государства.

Итак, разложение идеи общества привело к рождению, с одной стороны, идеи постоянного изменения, то есть чисто политической концепции общественной жизни, с другой, идеи субъекта, творческая способность которого заменяет прежние принципы единства общественной жизни. Существенно здесь то, что субъект больше не может определяться в исторических терминах. Общество было в истории; теперь история находится в обществах, способных выбрать свою организацию, ценности и процесс изменения, не узаконивая подобные выборы с помощью естественных или исторических законов.

Критика, адресованная, в особенности со стороны Мишеля Фуко, гуманизму, имеет ту заслугу, что она способствовала исключению всех пострелигиозных обращений к сущностям, к естественным законам, к постоянным ценностям. Но она не направлена против идеи субъекта, ибо последний противостоит любой сущности и не имеет никакого постоянного субстанциального содержания.

Эта общая трансформация социологического анализа может быть конкретно выражена приданием нового смысла двум традиционным понятиям.

Первое из них *историчность*. До сих пор это слово просто указывало на историческую природу общественных феноменов и его практический эффект состоял в призыве к историческому типу анализа общественных фактов. Мне, напротив, казалось необходимым употреблять его, как я это уже сделал в данной книге, для обозначения совокупности культурных, когнитивных, экономических, этических моделей, с помощью которых коллектив строит отношения со своим окружением, производит то, что Серж Московичи назвал «состоянием природы», то есть культуру. Важность, придаваемая этому понятию, означает, что единство нашего общества не может быть найдено ни во внутренних правилах его функционирования, ни в его сущности, ни в его месте в длительном процессе эволюции, а только в его способности производить самого себя. Вторым является понятие *института*, которое сегодня должно означать не то, что было институционализировано, а того, кто институционализирует, то есть те механизмы, посредством которых культурные ориентации [57] трансформируются в общественную практику. В этом смысле все институты являются политическими.

Именно в борьбе против натуралистической концепции общества, которая еще сохраняет силу, особенно полезно настаивать на идее субъекта. Но не нужно брать способность к самопроизводству действующих лиц общества отдельно от той дистанции, которую они должны занять по отношению к их собственным творениям, чтобы завоевать себе или сохранить указанную способность производства. И наоборот, необходимо настаивать на идее самопроизводства в тот момент, когда кризис индустриальных ценностей ведет к распространению представления о новом типе общества, которое было бы озабочено не столько собственной трансформацией, сколько своим равновесием и отношениями с окружающей средой. В действительности можно отстаивать идею, что после периода интенсивной и творческой критики индустриальной культуры мы стоим сегодня на пороге новых форм технической деятельности, составляющих постиндустриальное общество, каковое является также сверхиндустриальным. Так что мы снова пришли к тому, чтобы рассматривать в качестве управляющих сил нашей общественной жизни ее творческую способность и положение наших национальных государств в мире.

### **Центральная роль общественного конфликта**

Историчность не представляет собой совокупности ценностей, прочно утвердившихся в центре общества. Она является совокупностью инструментов, культурных ориентации, можно бы сказать инвестиций, с помощью которых формируются различные виды общественной практики. А инвестиции никогда не кон-

тролируются всем населением. Альберт Хиршман (Albert Hirschman. *The Strategy of Economic Development*, Yale University Press, 1958) справедливо критиковал возвращающуюся популистскую иллюзию, по которой традиция может быть лучше сохранена путем модернизации, а модернизация реализована без пролетаризации западного типа или потерянного поколения на советский манер. Историчность, рассматриваемая как совокупность ресурсов, извлеченных из потребления, контролируется особой группой, которая отождествляется с ней и которая отождествляет ее, в свою очередь, со своими собственными интересами. Остальное население и особенно те, над которыми непосредственно довлеет процесс инвестиций вследствие налагаемого им на сферу потребления лишений, стремится защититься [58] от правящей группы и обрести контроль над историчностью. Таким образом, тот акцент, который был сделан на понятиях субъекта и историчности, вовсе не ведет к идеалистической или моралистической социологии, а необходимо связан с признанием не только центральной роли конфликтов, но и особенно существования некоего центрального конфликта в современных обществах.

Конфликтующие группы могут быть названы *социальными классами*, хотя это понятие может создать больше путаницы, чем ясности. Маркс ссылаясь на фундаментальное противоречие между природой и обществом, между общественными производительными силами и производственными отношениями. Мне, напротив, кажется, что нужно определять классы как группы, противостоящие друг другу в центральном конфликте за овладение историчностью, на которую они ориентированы и которая представляет ставку их конфликта. Например, в индустриальном обществе не противостоят друг другу капиталисты и пролетарии (то есть трудящиеся, лишенные всякой формы собственности), а индустриалы и трудящиеся. Обе группы имеют одни и те же культурные ориентации: верят в прогресс, в грядущее благосостояние, в необходимость подавления сексуальной жизни. Но в то же время они борются друг с другом за общественный контроль над этой индустриальной культурой, за то, чтобы придать различные социальные формы одним и тем же культурным ориентациям. Центральным социальным механизмом является конфликт, посредством которого поле историчности, совокупность культурных моделей трансформируется в систему социальных отношений, каковые всегда представляют собой отношения неравенства, отношения власти.

Нужно одновременно отказаться и от парсоновской идеи общества, организованного вокруг совокупности ценностей, превращенных в социальные нормы и воплощенных в организациях, статусах и ролях, и от противоположной идеи общественной жизни, разделенной на два совершенно противоположных мира, соответствующих двум социальным классам. В этом втором случае все, что кажется общим для всего общества, представляется лишь иллюзией, служащей интересам господствующего класса.

Поскольку субъект определен через его творческую способность и произошел отказ от эволюционистского видения общества, можно объединить между собой идею центрального социального конфликта и идею ориентированного на ценности действия. Культурные ориентации — это не принципы, но когнитивные, экономические и [59] этические инвестиции, которые трансформируются в общественную практику посредством классовых конфликтов. Индустриальное общество создано промышленностью, наукой и секуляризацией, но только при обязательном наличии классового конфликта, противопоставившего промышленников, будь они частными или общественными собственниками, национальными или иностранными, — трудящимся, в особенности квалифицированным трудящимся, которые повсюду создали и воодушевили синдикаты и социалистические движения. Противоположность между определением классов через их положение и их определением как действующих лиц, ориентированных на ценности и включен-



ных в общественный конфликт, с моей точки зрения, так важна, что кажется более предпочтительным говорить об *общественных движениях*, чем об общественных классах. Хотя, по-видимому, невозможно прекратить употреблять слово «классы» для обозначения социальных категорий, с которыми связаны организованные общественные движения.

Итак, можно назвать три главных элемента общественной жизни: *субъект*, взятый в дистанции от организованной практики и в качестве сознания; *историчность*, то есть совокупность культурных моделей (когнитивных, экономических, этических) и ставка центрального общественного конфликта; *общественные движения*, которые борются за придание социальной формы названным культурным ориентациям. Эти элементы могут комбинироваться различными способами. Возможно *эпическое* видение общественной жизни, делающее акцент на историчности, оно преобладает в ситуации волюнтаристской модернизации, особенно после Советской революции. *Драматическое* видение придает значение конфликту общественных движений, оно типично для западного мира, где промышленники и синдикаты одновременно имеют доступ к политическому влиянию и к медиа. Но сегодня мы устали от исторических пророчеств, которые заканчиваются только авторитарными режимами и доктринерскими интерпретациями. Отсюда особое значение, придаваемое понятию субъекта, предполагающему дистанцию, занятую индивидами и коллективами в отношении институтов, практик и идеологий. Это третье видение общества может быть названо *романтическим*.

Не существует точки полного равновесия между эпопеей, драмой и романтизмом. Впрочем, одна из ролей интеллектуалов состоит в том, чтобы напомнить той социальной среде, в которой они живут, что всякое общество стремится забыть или маргинализировать одну, [ :60] даже две из этих «сфер» общественной жизни. Таким образом, с какого-то времени мы забыли ее эпическую составляющую и, может быть, входим в период, где будет менее видна роль общественных движений, и это после эпохи, когда контр-культурные движения отбрасывали роль историчности. Это не значит, что мы переходим от общественных проблем к частным делам, от историцизма к нарциссизму, а означает, вероятно, то, что мы находимся на пороге нового уровня историчности, входим после долгого периода политических верований и короткого периода чисто критической мысли в новую фазу сознания — романтического утверждения свободы субъекта. Это необходимая фаза для воссоздания дистанции между устоявшимися формами практики и коллективным действием, необходимое условие для новых открытий, новых свершений и формирования новых общественных движений.

## Заключение

Предшествующие анализы приводят к мысли, что главная задача социологии — открыть — позади обычаев, правил и ритуалов — культурные ориентации и находящиеся в конфликте общественные движения, лежащие прямо или косвенно в основе большей части разновидностей социальной практики. Вместо того чтобы описывать механизмы некоей социальной системы, ее интеграции и дезинтеграции, ее стабильности и изменчивости, социологи должны вернуться от изучения социальных ответов к анализу механизмов самопроизводства общественной жизни. И так как этими механизмами не являются материальные факторы или основы общественной организации, а неравные отношения между действующими лицами, имеющими одни и те же культурные ориентации, то наша роль заключается не в объяснении поведения с помощью обстоятельств, а напротив, в объяснении обстоятельств с помощью действий. [ :61]

## *Вторая часть*

# СОЦИОЛОГИЯ ДЕЙСТВИЯ

### **Восемь способов избавиться от социологии действия**

Социологии чужды и даже противоположны все подходы, в основе которых лежит отказ от анализа отношений между действующими лицами общества. Это относится одновременно к подходам, сводящим смысл действия к сознанию действующего лица, и к тем, которые объясняют его «ситуацией» последнего. Социология все потеряет, если даст основания думать, что она многообразна, лишена общих для всех своих сторонников принципов. Напротив, нужно, чтобы она отчетливо заявила о себе как «реляционистском» анализе, равно далеком и от субъективизма, и от объективизма.

В этих пределах центром социологического анализа оказывается социология действия. Именно отправляясь от нее, могут быть исследованы другие области и прояснена изнанка общества, то есть порядок, скрывающий собой, в силу демонстрируемой им власти, общественные действия и отношения. Такова единственная граница, которую должна осознавать социология действия. Насколько нужно освободиться от чуждой для социологии противоположности между объективными причинами и интенцией или волей субъекта, настолько же нужно признать, что в обществе постоянно взаимодополняются, противопоставляются, смешиваются система отношений между действующими лицами и система приведения их в порядок. Нет общества, которое нельзя бы было анализировать в качестве системы общественных отношений, но нет также общества, которое бы не налагало на них политического и идеологического порядка. [62] Социология, как и само общество, живет в постоянном напряжении между полюсом движения и полюсом порядка. Первый является одновременно местом культурных инноваций и социальных конфликтов, второй включает в себя феномены политической власти и идеологических категорий.

Надо остерегаться и их разделения, и их смешения. Ибо если бы социология движения игнорировала принудительную силу порядка, то она уступила бы чисто либеральной иллюзии, начала бы представлять общество как рынок и стала бы идеологией господствующих групп, которые всегда склонны призывать к свободе взаимодействий в той мере, в какой они чувствуют свою силу.

Наоборот, если бы чистая социология порядка забыла, что порядок сам является результатом конфликтов и взаимодействий, то она была бы приведена к необходимости анализировать общество с помощью несоциального принципа — деспотизма, рациональности или комбинации обоих. Это могло бы питать лишь политическую идеологию в ущерб социологии. Из сказанного проистекают последующие полемические размышления, направленные против подходов, противоречащих принципам социологии действия.

#### **1. Оценивать ситуацию или социальное поведение с точки зрения несоциального принципа**

Самое старое правило социологической мысли, которое с силой подчеркивал Дюркгейм, состоит в том, что социальное можно объяснять только социальным. Его, однако, трудно соблюдать, так как социолог может быть увлечен, например,

моральным протестом. Под впечатлением усталости рабочих можно ограничиться только разоблачением бесчеловечности конвейерного труда. Можно также утверждать, что города с высокой плотностью пешеходов или автомобилей не являются «естественной» средой для человека. Подобные утверждения лишены всякого социологического смысла, так как они мешают раскрывать те социальные отношения, которые привели к ситуации, вызывающей возмущение. Подобный отказ от анализа социальных отношений очень силен в тех исторических ситуациях, где мало организованы самые фундаментальные социальные конфликты, а именно, классовые. Это происходит всегда, когда формируется новый тип общества. Правящий класс стремится в таком случае спрятаться позади «естественной» эволюции вещей и [ :63 ] противопоставить свою собственную волю к модернизации разного рода протестам против прогресса. Со своей стороны, те социальные слои, которые находятся в положении угнетенных классов, противопоставляют свои принципы и ценности тому управлению обществом, которое они еще не в состоянии атаковать.

Сегодня социолог, по крайней мере в индустриализованных странах, оказывается под влиянием этих противоположных и взаимосвязанных тенденций. В течение двух десятилетий он испытал влияние идеологии нового правящего класса, который говорил только об адаптации к изменениям, о модернизации, об исчезновении идеологических и социальных столкновений. Но недавно он оказался увлечен утопиями, оспаривающими этот заинтересованный оптимизм, и испытал влияние протестов против разрушительного прогресса, выступавших от имени Человека или Природы. Настоящая задача социологии, соответствующая открытию заново ее постоянного объекта, заключается в поиске новых отношений и новых социальных конфликтов, которые формируются в глубоко изменившемся культурном поле. Нужно отказаться и от интеграции в несоциально определенную современность, и от глобальной критики ее, проводимой от имени несоциального принципа.

Мы выходим из долгого периода, во время которого социология могла быть только отброшена или деформирована. Настал момент вернуть ей ее место и научиться говорить о нашем обществе социологически. Ибо наивная вера в модернизацию, изобилие или научную и техническую революцию стала уже невозможной, тогда как одновременно между нациями и внутри них множатся социальные и политические конфликты.

## **2. Сводить социальное отношение к взаимодействию**

Предметом социологии является объяснение поведения действующих лиц посредством социальных отношений, в которых они оказываются. Типы поведения не могут быть объяснены обращением к сознанию самих действующих лиц, так как невозможно преодолеть различие представлений, которые действующие лица имеют о своих взаимодействиях.

Как, в самом деле, выбрать между представлениями предпринимателя и рабочего относительно трудового конфликта? Изучать нужно отношение, а не действующее лицо. Но нет ничего более далекого от этой дефиниции, чем сведение социологии к изучению [ :64 ] взаимодействия. Ибо последнее ставит на первый план действующие лица, чтобы затем перейти к рассмотрению их поведения в отношении друг друга. Социология никогда не недооценивает изучение взаимодействий, но она не может его отделить от познания области отношений. Действующие лица общества не похожи на покупателей и продавцов, связанных между собой простыми отношениями обмена, сводимых к игре с нулевым итогом.

Самая классическая социология справедливо показала, что роли определялись типом организации. Область взаимодействия оказывается тогда зависимой от воз-

действия общества на самого себя и, следовательно, всякое отношение означает связь неравных действующих лиц в силу того, что они прямо или косвенно связаны, один с руководством указанным воздействием, а другой — с подчинением ему.

Всякое социальное отношение включает властное измерение. Не существует чисто горизонтального социального отношения. Внутри организации, если взять самый простой уровень, роли рабочего и мастера включают систему властной иерархии, которая установлена не заинтересованными лицами, а продиктована им решением предпринимателя или выработана в результате коллективных переговоров.

На втором уровне, относящемся к политическим институтам, значимость действующих лиц определяется их влиянием на решения, признаваемые легитимными. Их позиция также определена теми юридическими правилами — законодательными или, в особенности, конституционными — которые отсылают к социальному режиму, например, к праву собственности. Неравенство действующих лиц зависит от их связи с принципами и интересами, на которых основываются правила политической игры.

Наконец, на самом высоком уровне, отношения между классами являются не просто конфликтными, ибо борьба между классами идет за контроль над неким культурным полем, за управление средствами, с помощью которых общество само «себя производит». Это одновременно экономическое накопление, способ познания и представление о способности общества воздействовать на самого себя, что я называю *этической моделью*.

Классовая противоположность неотделима от воздействия общества на самого себя, от его «историчности». Высший класс идентифицирует себя с историчностью и, наоборот, идентифицирует ее со своими собственными интересами. А подчиненный класс протестует против такой идентификации, борется за коллективное присвоение средств воздействия общества на самого себя. [65]

Трудно принять эту концепцию социальных отношений, так как мы постоянно находимся под воздействием нашего жизненного опыта. Наши отношения устанавливаются в «ситуации». Правила, нормы, социальная организация, как театральные декорации, кажутся уже существующими к тому моменту, когда действующие лица выходят на сцену. Но такое восприятие нужно совершенно перевернуть, чтобы начать социологический анализ. Ибо если ситуации предшествуют отношениям, то откуда они берутся, если не от «скрытого Бога», метасоциального принципа или естественных законов, что является только другим способом ограничивать познание? Социологический «реализм» только иллюзия. Общества, быстро изменяющиеся, не могут уступить этой иллюзии. Правило не предшествует акту. Оно одновременно производится, изменяется и оспаривается в каждом акте. Порядок не является ни неприкосновенным, ни последовательным. Он представляет собой только частичное оформление социальных отношений, культурных трансформаций и конфликтов в области власти, влияния и авторитета. В связи с этим уясняется значение общественных движений, которые заставляют проявиться самые глубокие общественные отношения и обнаруживают, что институты и формы общественной организации произведены общественными отношениями, а не представляют «состояние» общества, детерминирующее общественные отношения.

### 3. Разделять систему и действующие лица

Всякий социолог знает, что смысл поведения никогда не может быть смешан с сознанием действующих лиц. Когда социологию определяют как исследование систем общественных отношений, то кажется, что это является другой формой

утверждения о необходимости отделять друг от друга системы и действующие лица. Такое отделение, действительно, обязательно, но в особом смысле. Система общественных отношений сконструирована социологическим анализом и не соответствует прямо никакому исторически определенному «случаю». Действующее лицо, между тем, это всегда персонаж, и его действия всегда события, что вынуждает мобилизовать для их понимания множество ситуаций, а значит, и общественных отношений. Легко согласится также, что социологическое объяснение не может прибегать к идее «человеческой природы», неприкосновенных ценностей и принципов, тогда как действующее лицо не перестает объяснять таким образом свое собственное поведение, [ :66 ] говоря о Красоте или Добре, Правах Человека или о цивилизации разума эпохи Ренессанса, или о немецкой цивилизации.

Но нельзя остановиться на этом призыве к самым элементарным принципам всякого социологического анализа. Вопрос стоит о природе объяснения форм социального поведения. Прежде всего надо отказаться от соблазна объяснять поведение ситуациями из-за смутности такого выражения. Непонятно, как можно было бы объяснять поведение уровнем заработной платы, типом жилища или состоянием техники. Очевидно, нужно сначала превратить эти «ситуации» в общественные отношения и, прежде всего, в уровни участия.

Между тем, существует более разработанная форма объяснения поведения ситуацией. Не связана ли она с возможностью проследить общество в эволюции, ведущей от простого к сложному, от недифференцированного к дифференцированному, от медленного и прерывистого изменения к скорым и непрерывным трансформациям, от слабой плотности обменов к сильной. Интеграция и отклонение, консенсус и конфликт могли бы также быть объяснены свойствами организации и даже, если употребить термин Дюркгейма, социальной морфологией.

Но можно признать такую эволюцию и интерпретировать ее совершенно другим образом. То, что сначала представлялось «естественным» разнообразием, на деле является расширением воздействия общества на самого себя. Если смотреть глубже, то сложное общество больше «производится» и, стало быть, меньше воспроизводится, чем менее сложное общество. В сложном обществе не перестает расширяться область общественных отношений и конфликтов. Вследствие этого, остаешься в сфере общественных отношений в момент, когда казалось, что выходишь из них.

Такое видение общества как ставки конфликтов формируется начиная с момента, когда само общество берет на себя ответственность за всю совокупность своего опыта, вместо того чтобы ограничивать область социального действия узкой полосой, зажатой между метасоциальным уровнем и структурами порядка в обществе и вокруг него. В досоциологических образах общества господствовала дуалистическая концепция: носитель смысла находился над обществом, последнее было областью грехопадения, инерции, частного интереса и произвола. Тогда как нужно бы поставить конфликт в центр анализа общества, в досоциологический период туда помещали противоречия между практическим разумом и ценностями, между смыслом и его отсутствием, между производительными силами и [ :67 ] производственными отношениями. Это всегда принуждало отдавать главную и в сущности необъяснимую роль центральному действующему лицу, способному преодолеть противоречие, выступающему носителем смысла и сражающемуся против бессмыслицы, представляющему универсальное. Таким действующим лицом почти всегда являлось государство.

Совсем не случайно социология развивается в то же время, что и общественные движения, которые требуют права самим быть носителем собственного смысла, вместо того чтобы выступать лишь слугами Партии или интеллектуалов, или еще выше — государства.

Общества способны изучать себя социологически только начиная с момента, когда они не признают более существования метасоциального уровня — божественного Провидения, принципов политического порядка, экономических законов и оказываются пронизаны сразу и созданием новой культуры, и конфликтами, связанными с возможностями ее общественного контроля.

#### **4. Спрашивать себя о степени значения той или иной категории социальных фактов (экономических, политических, идеологических)**

Трудно обнаружить основания, в соответствии с которыми социальная мысль начала употреблять такие категории, говорить, в особенности, об экономических, политических или, что еще более странно, о социальных «факторах». Не являются ли социальными экономические, политические или культурные факты? И каковы границы этой, сведенной к «социальному» области? Подобная классификация соответствует только крупным делениям правительственной деятельности: современные государства имеют министерства экономики, социального обеспечения и т. д.

Подобные наблюдения с точки зрения здравого смысла показывают лишь произвольный характер употребляемых категорий. Например, то, что называют политикой, составлено из двух, по крайней мере, очень разных частей: с одной стороны, это обязательное для всех членов территориального коллектива представление интересов в ходе формирования решений, с другой, это область государства, власти, которая управляет, заключает мир, ведет войну, осуществляет изменения. Точно так же, когда говорят об экономике, то имеют в виду либо мобилизацию материальных ресурсов в связи с некоторыми [68] политическими целями, в свою очередь продиктованными культурными ценностями, либо, напротив, общественные формы коллективного труда и потребления его продукта, которые рассматриваются как сам базис общества. Каждый из вышеназванных терминов обладает, следовательно, двумя, по крайней мере, главными значениями.

В духе такой путаницы случаются отсылки к иерархии потребностей, начинающейся с материальных требований выживания и доходящей до самых «сумасбродных» и роскошных форм культуры. *Primum vivere...* (Во-первых жить — М. Г.) Такая позиция разделяет общий взгляд на историческую эволюцию, согласно которой «первобытные» могли бы удовлетворять лишь самые элементарные потребности, тогда как прогресс техники и ресурсов способствовал распространению «цивилизации». Осторожность и приличие требуют не останавливаться дольше на этом типе аргументации, столь же смешном, сколь и невыносимом.

Историки школы «Анналов» более мудро противопоставили различные значения времени. «Продолжительное время» — это время отношений человека и природы, «краткое время» — это время политических событий. Такое представление скрывает простую идею: иерархия значений времени и факторов вела бы от того, что является наиболее «природным», наиболее внешним в человеческом действии, к тому, что наиболее полно определимо в терминах взаимодействия и, стало быть, наиболее изменчиво. Это довольно хорошо соответствует мнению, которое имело о себе самое индустриальное общество, убежденное в том, что именно материальный труд является существенным и что политические действия, как и культурные «творения», определяются состоянием труда. Но трудно заставить современников Гитлера, Сталина, Мао и даже Кастро, Насера или Бумедьена согласиться с тем, что политические события являются лишь короткими волнами, порожденными глубоким волнением экономических ситуаций. На самом деле кажется, что экономическая и социальная политика многих стран скорее определяет состояние сил производства, чем определяется ими. Говоря более обобщенно,

нужно отказаться от наложения деятельности более «искусственной» на деятельность, которая была бы более «натуральной». Ибо виды последней так же культурно и социально детерминированы, как идеологии или произведения искусства. Антропология должна бы нас здесь защитить от оправдательных рассуждений, с помощью которых индустриальные общества описывали их собственный опыт. [:69]

Эти замечания достаточны, чтобы показать, что экономические, политические, культурные категории не имеют никакого ясно уловимого очертания. Самое краткое рассмотрение ведет либо к растворению подобных категорий, либо к их обоснованию с помощью исторически определенной идеологии.

Сказанное подводит к тому, что указанные категории социальных фактов являются в действительности только «метасоциальными» категориями, образами высшего порядка, управляющими социальными фактами. Чем слабее способность общества воздействовать на самого себя, тем более метасоциальный уровень кажется удаленным от общества и тем более он оказывается хранителем «смысла» человеческого поведения. Прогресс историчности, способности общества производить самого себя, и, значит, расширение области действий, признанных социальными, влечет за собой развитие секуляризации и ослабление метасоциальных гарантов общественного порядка. Культура, политика, экономика — будучи противопоставлены обществу — являются лишь главными и последовательными формами метасоциального порядка.

В обществах, которые могли воздействовать только на производство потребительских благ, историчность проявлялась почти как идентичный двойник человеческой деятельности, но двойник, помещенный в область трансцендентного. Такой метасоциальный порядок мог быть назван культурным или, конкретнее, религиозным. Общества, называемые *торговыми*, которые влияют на распределение благ, представляют себе метасоциальный порядок в виде гаранта обменов, этих двигателей изменения. Это политический порядок законодательных правил, придуманный и систематизированный под влиянием принципов политического права. Индустриальное общество, способное воздействовать не только на производство потребительских благ и их распределение, но и на организацию труда, рассматривает экономические факты в качестве силы, руководящей общественным порядком.

С тех пор как применение науки и технологическое творчество позволили воздействовать не только на потребление, распределение и организацию труда, но и на цели производства и на культурные типы поведения, отделение социального и метасоциального потеряло всякий смысл. Бесплезно стало спорить об относительном значении экономических факторов и социальных факторов, ибо между этими областями не может более существовать никакой границы. Не стала ли политикой экономика, особенно в индустриальную эпоху? [:70]

Итак, категории социальных фактов являются только остатками метасоциальных уровней, призванных прошлыми обществами для представления себе реальности и границ их воздействия на самих себя. Социология не может более использовать эти категории. Она должна, напротив, постоянно их разрушать и заменять результатами своей собственной деятельности, то есть категориями общественных отношений.

## 5. Говорить о ценностях

Самая общая проблема социологического анализа заключается в понимании общества одновременно в его единстве и разделенности. Некоторые хотели бы видеть только разделенность, как если бы общество было полем битвы или рынком, где действующие лица преследуют индивидуальные цели выживания, обо-

гашения или победы. Но такой образ не объясняет происхождение того, что часто называют «нормами», как это уже заметил в конце прошлого века Дюркгейм. Самые важные социальные конфликты никоим образом не могут сводиться к «разделу пирога». Последнее выражение я употребляю только для того, чтобы показать, до какой степени чисто конфликтная концепция общества была бы на деле консервативной. Революционная мысль хочет одновременно разрушить один порядок и основать другой или освободить всех людей. Она, разумеется, не ограничивается защитой одной стороны, но узаконивает свое действие с помощью общих принципов. Таким же образом правящий класс берет или хочет взять на себя ответственность за все общество, в особенности за техническую или экономическую рациональность.

*Homo homini lupus* (человек человеку волк — М. Г.) — это не только спорная поговорка. Конфликт имеет значение и подтверждает себя в качестве реального общественного конфликта только в той мере, в какой действующие лица, каждый со своей стороны, стремятся управлять областью своего взаимодействия. Рабочее движение не противопоставляло капитализму совершенно другое общество и другую культуру. Напротив, оно стремилось к коллективному присвоению сил производства и самой идеи прогресса. Хозяева и рабочие боролись между собой за управление индустриализацией, каковая одновременно рассматривалась и как экономическая действительность, и как культурный проект.

Другая тенденция общественной мысли состоит, наоборот, в утверждении единства общества. Это последнее представляется тогда [71] в качестве некоего персонажа, отца семейства или руководителя предприятия, который ставит себе цели и выбирает средства, который регулирует отношения между членами своей группы и обеспечивает интеграцию последней и сохранение ее ценностей. Таково в самом деле ключевое слово этой социологии общественного порядка. Она утверждает, что ценности представляют собой общие культурные ориентации общества и что они управляют коллективной жизнью, превращаясь в социальные нормы, которые в свою очередь преобразуются в организационные формы и роли. Нет надобности далее вспоминать эту концепцию, которая преобладала в университетской социологии, по крайней мере до тех глубоких и длительных потрясений, которые были вызваны студенческими движениями и стали еще обширнее в результате морального кризиса западных обществ, связанного с войной во Вьетнаме и с дезорганизацией денежной системы и международной экономики. Этот образ общества столь же неприемлем, как и упомянутый выше. Насколько верно, что нет значимого конфликта без согласия существующих партий в отношении его ставки, настолько же ложно, что взаимодействующие лица ссылаются на одни и те же нормы и ценности.

Как же выйти из этого двойного тупика? Сначала надо рассеять неясность, затем разделить два неосновательно объединенных термина. Неясность, очевидно, относится к природе принципа единства, который проще можно было назвать *культурой*. Если под культурой понимают совокупность идеологических положений, в долбленных населению с целью гарантировать порядок и узаконить установленные привилегии, то ясно, что речь здесь не идет о ставке общественных конфликтов, а только об инструменте в руках общественной власти. Когда функционалистская социология упоминает о ценностях как принципах социальной интеграции, она справедливо подвергается политической критике, упрекающей ее в единении с точкой зрения руководителей. Нужно хорошо отделить друг от друга единство системы исторического действия, о которой я говорю, и эти размышления, имеющие цель легитимации установленного порядка. Такое отделение поистине возможно, только если отличают культурные ориентации, составляющие си-



стему исторического действия, от социальных норм, которые служат инструментами воспроизводства и легитимации установленного порядка.

Нужно разбить эту простую фразу: «Культурные ценности превращаются в социальные нормы применительно к особым областям общественной жизни». Не существует непрерывности между [ :72 ] ценностями и нормами, или, точнее, между культурными ориентациями и идеологиями. Ибо между ценностями и нормами втискиваются, как клин, отношения господства и, значит, общественные движения. Культурные ориентации представляют ставку отношений господства; социальные нормы обнаруживают влияние правящего класса на культурные ориентации и вследствие этого оспариваются народными классами, которые оправдывают их борьбу ссылкой на культурные ориентации общества. Таким образом, понятие ценности выполняет функцию маскировки разрыва между культурными ставками и общественными интересами, маскировки классовых конфликтов. Хорошо, что идеологическая критика делает явной роль понятия, по-видимому, чуждого социальным конфликтам. Но эта критика была бы недостаточна, если бы она не привела к обнаружению по ту сторону ценностей легитимации — культурных ориентации, безусловно связанных с историчностью общества. Последние находятся на самом глубоком уровне общественного действия, который можно назвать производительными силами при условии уточнения, что речь идет здесь не о материальных силах, а о культурном действии. Всякое общество замкнуто между культурными ориентациями и ценностями, между инструментами производства обществом самого себя и идеологическими инструментами воспроизводства неравенств и привилегий.

## **6. Рассматривать общество как дискурс правящего класса**

Не бывает правящего класса, который бы не имел возможности мобилизовать для защиты своих интересов и воспроизводства привилегий политические институты, государственный аппарат и культурные организации. Его идеология не вступает непосредственно в столкновение с идеологией народного класса: она скрыта за абстрактными принципами или за так называемыми техническими требованиями. В силу этого необходимо, чтобы критика выступила против этого идеологического господства и его ложных видимостей.

Но признание такого господства далеко не означает, что вся совокупность категорий общественной практики представляет собой связанное осуществление господствующей идеологии. Подобное утверждение непримиримо с признанием классовых отношений и борьбы. Ибо как можно одновременно говорить о единстве и интеграции некоего социального порядка, доминируемого положительностью власти или идеологии, и утверждать, что общество [ :73 ] пронизано глубокими социальными конфликтами? Утверждение, напротив, центральной значимости классовых отношений толкает к признанию существования в социальной организации конкретных знаков конфликта и некоторой способности действия народных сил через политические институты. Как можно было бы говорить о рабочем классе и о капиталистической эксплуатации в индустриальном обществе, если бы рабочее движение не могло сформироваться, если бы рабочие были целиком «отчуждены», если бы профсоюзы только и делали, что принимали логику господствующей системы, если бы политическая и юридическая системы отбрасывали постоянно и безусловно требования профсоюзов и отказывали им во влиянии на права труда?

Странно и даже парадоксально, что образ общества, сведенного к воспроизводству власти определенного класса, так часто получал выражение в ходе последних лет именно в обществах, где институционализация конфликтов самая развитая и где наиболее широко распространено политическое, социальное и

идеологическое признание этих конфликтов. Было бы понятно стремление показать, что все категории социальной практики вписываются в унифицированный проект господства, если бы речь шла об авторитарном, деспотическом или тоталитарном обществе. Вдобавок, я повторяю, такой проект не мог бы быть отождествлен с классовым господством, так как он был бы уловим непосредственно только на политическом и идеологическом уровнях.

Представление об обществе как идеологическом дискурсе правящего класса является плохим компромиссом между двумя логичными и противоположными интеллектуальными позициями. Первая из них принимает, что организация и изменение общества направляются интересами правящего класса и, еще точнее, законами капиталистической экономики. Другая исходит из представления об обществе как борьбе между классовыми силами за контроль над историчностью, то есть над общими культурными ориентациями общества.

Первая из названных позиций, очень ясная, исходит из существования системы, определенной посредством капиталистической эксплуатации, но в социальном плане обозначаемой ссылкой на внутреннюю логику господствующей системы. Эта концепция сталкивается с двумя возражениями. Первая напоминает, что если действительно существует внутренняя логика классового экономического господства, ничто не вынуждает утверждать, что эта логика [74] целиком управляет функционированием общества. Признать существование капиталистической власти — не предполагает *ipso facto* (тем самым — М. Г.) утверждать, что она является тотальной, что государство является только агентом господствующего класса, что трудящиеся не могут организовывать общественные движения, способные перевернуть или ограничить эту власть. Если верно, что господствующий класс всегда стремится противопоставить порядок, с которым он себя отождествляет, и отклонение от нормы, в каковом он обвиняет всех тех, кто ему противостоит, еще более верно, что общество должно анализироваться как столкновение классовых проектов, борющихся за управление историчностью. Утверждать, что общество является только системой господства, значит отрицать существование и даже возможность общественных движений. Такой может быть только идеология правящей элиты, озабоченной то ли поддержанием своего господства, то ли достижением власти с опорой скорее на кризис предшествующей системы, чем на сопротивление угнетенных классов.

Второе возражение отбрасывает идею о столь же полной независимости экономической сферы, тогда как исторически экономические и политические факты связаны. Говорящие о «государственном монополистическом капитализме» сами признают невозможность определить власть чисто экономически, так как государство там играет существенную роль. Эти возражения так сильны, что сегодня очень немногие защищают идею чисто экономической логики господства, не зависящей от влияния политической власти и от идеологической манипуляции (пропаганда, реклама, культурная обработка). Но как не видеть, что чем больше продвигаются в этом направлении, тем больше правящий класс предстает как действующее лицо, а не в качестве простого носителя законов экономической системы?

В случае центральных капиталистических обществ представление об обществе как идеологическом дискурсе так противоречит наблюдаемым фактам, что нужно искать скрытые причины его влияния. Оно в действительности только следствие утопии правящего класса, отождествляющего свои интересы с социальной эволюцией в целом в тот период, когда соответствующая новым формам классового господства социальная борьба не была еще развита. Ценность такого отождествления социальной организации с господствующей идеологией состоит в обнаружении классовой природы последней и, в особенности, в разоблачении ее

излюбленной маски [75] «конца идеологий». Исторически роль этой идеологической критики после двух десятилетий триумфа идеологии господствующего класса была очень позитивна. Но если необходимо критиковать эту идеологию, то столь же необходимо не становиться на ее почву, не сводить, следовательно, социальную и культурную организацию к некоему дискурсу. Нужно, напротив, заново открыть, прямо или косвенно, присутствие общественных конфликтов.

На своей начальной стадии американская индустриальная социология, мыслившая, как правило, в консервативной перспективе, дала очень хороший пример идеологической критики, показав, что поведение рабочих не соответствовало тэйлоровским представлениям о нем, так как рабочие отвечали на финансовые стимулы замедлением, а не ускорением работы. Этот тип анализа можно с пользой применить к школе, чтобы понять школьное запустение, и к другим областям общественной жизни. Возмущения, отказы, увольнения, бегства, молчания, агрессии, нарушения или злоупотребления социальными или культурными средствами являются проявлениями оппозиционных сил в той же степени, что и конфликты, идеологии, переговоры. В течение какого-то непродолжительного времени было полезно просто ставить под сомнение воздействие правящего класса и правящих элит на общественную практику в целом. Но очень скоро стало ясно, что подобная критика рискует оказаться пленницей тех же иллюзий, с которыми она сражается. Неправда, что общество является одномерным и интеграционным, что оно может быть оспариваемо только извне или с позиций самой дальней периферии. Как общественные движения в индустриализованных странах, так и выступления против международной организации капиталистической экономики показали хрупкость, противоречия и конфликты, присущие этому господствующему порядку, который считал себя таким сильным, таким независимым, был таким уверенным в воспроизводстве своих прибылей и привилегий.

Социология действия противоположна отмеченному подходу. Конечно, механизмы воспроизводства социального господства существуют. Но во-первых, воспроизводимое никогда не может быть целиком сведено к классовому господству. Скорее при этом происходит деградация власти класса и его привилегий, более или менее прямо опирающихся на антинародное государство. И во-вторых, это воспроизводство охватывает полностью производство отношений и классовых конфликтов только в особых случаях. С одной стороны, это тоталитаризм, с другой, консервативный декаданс. Ничто не [76] позволяет утверждать, что большие капиталистические страны целиком находятся в настоящее время в той или в другой из названных ситуаций.

## **7. Рассматривать социальные классы в качестве персонажей**

Социальные классы — это не просто группы, обладающие неравными ресурсами или возможностями. Правящий класс руководит историчностью, то есть совокупностью средств, с помощью которых общество не воспроизводится, а производит свое собственное существование и его смысл. Рассматриваемые социологией общества обладают способностью занять дистанцию в отношении самих себя с помощью сознания, инвестиций и представления о своей собственной творческой способности. Но было бы натяжкой говорить лишь об обществе, воздействующем на самого себя. Подобное воздействие предполагает деление общества, оно может быть осуществлено только частью общества, влияющей на целое. Воспроизводящее себя общество может быть неразделенной общностью; общество, наделенное историчностью, способностью к самоизменению, обязательно разделено на классы: высший класс управляет накоплением, а народный класс испытывает на себе тяготы накопления.

Но понятие класса имеет также более своеобразное историческое значение. Оно появилось в современной общественной мысли, и особенно в Шотландии, в XVIII веке, развилось в Европе эпохи капиталистической индустриализации и теперь распространяется во всех регионах мира, где реализуются новые формы индустриализации, управляемой национальной или иностранной буржуазией. Откуда такой исторический феномен? Он объясняется слиянием трех родов фактов в период капиталистической индустриализации.

К ним относятся, во-первых, сами классовые отношения, какими они существуют в других формах как до индустриального общества, так и после него.

Во-вторых, сюда относится формирование во время индустриальной эпохи метасоциального уровня «экономической» природы. Экономические факты и отношения определяют социальные явления, тогда как в доиндустриальном капитализме метасоциальный уровень имел «политическую» природу. В этих торговых обществах, как и повсюду, классовые отношения имеют экономическое измерение, но классы определяются также политикой, в которую вписываются их отношения. Так что классы являются одновременно и агентами [77] гражданской или политической борьбы, и экономических условий. Такая дуальность классовой природы существует повсюду, кроме индустриальных обществ, где поле классовых отношений само становится экономическим.

В-третьих, и это последнее, индустриализация Западной Европы, и в особенности Великобритании, осуществлялась национальной буржуазией, классом, который, таким образом, мог одновременно представлять и одним из агентов классовых отношений, и элитой, управляющей процессами исторического изменения. Классовая борьба в собственном смысле слова оказалась слита с борьбой за руководство государством. Исторически обусловленное соединение названных трех значений понятия «класса» придало классам роль центральных персонажей истории, признанных таковыми прежде всего «буржуазными» историками вроде Гизо и Токвиля.

Парадокс настоящей ситуации заключается в том, что прогресс в воздействии общества на самого себя не перестает увеличивать область классовых отношений и, стало быть, значимость этого понятия, но при этом сами классы все более и более перестают быть центральными персонажами истории. Однако парадоксом это является только по-видимости. Исчезновение метасоциальных уровней, которые растягивают до бесконечности область классовых конфликтов, ведет также к исчезновению второго из трех указанных выше составляющих образа классов, присущего индустриальным обществам.

С другой стороны, распространение по планете индустриальной цивилизации разнообразит природу правящих элит. Происходит это особенно вследствие умножения обществ, где эти элиты являются государственными и небуржуазными, что ведет к запрету априорного отождествления правящего класса и правящей элиты.

Одна из самых настоятельных задач социологии действия состоит в обнаружении классовых отношений даже там, где более не доминируют классы — персонажи. Буржуазия и пролетариат не являются теперь повсюду героями индустриализации. Сегодня общественные классы не предстают в виде исторически узнаваемых и называемых фигур, они могут быть определены только с помощью классовых отношений, хорошо скрытых за властью государств и партий.

## **8. Смешивать структуру и изменение в философии эволюции**

Не существует никакой непосредственной разницы между объяснениями социальных фактов посредством указания на их место [78] в рисунке Провидения или соответственно смыслу Истории. В последнем случае, конечно, метасоциаль-

ный уровень, с которым соотносятся социальные факты, не неподвижен, а находится в движении. Но обе концепции единогласно утверждают, что социальные факты, то есть социальные отношения, не несут в себе собственного смысла: последний исходит от высшего уровня. Когда это смысл осознается как движение от простого к сложному, от определенного к приобретенному, от воспроизводства к изменению, тогда социальные факты должны истолковываться соответственно их месту в этом процессе растущей дифференциации и секуляризации. При этом не оказывается никакого различия между понятиями, служащими для анализа социальной структуры, и теми, которые используются для познания изменений. Самым простым примером служит понятие модернизации: в современном обществе роли сильно дифференцированы, торжествует инструментальная рациональность и т. д. Анализ «современного» общества требует понятий, которые привлекают всегда противоположный образ «традиционного» общества. Мысль Толкотта Парсонса, долгое время пользовавшаяся столь значительным влиянием, дает хороший пример этого эволюционизма, тесно связанного с функционалистским анализом социальной организации.

Общество, каким его изображает этот тип социальной философии, не определяется через свое собственное действие, свои общественные отношения и формы общественного контроля. Более фундаментально оно определяется характеристиками современности или традиционализма, то есть местом, занимаемым им на иерархической лестнице, ведущей от общности (*Gemeinschaft*) к обществу (*Gesellschaft*), от механической солидарности к солидарности органической и т. д.

На более конкретном уровне действие крупных агентов истории также объяснялось в исторических терминах. Речь при этом всегда шла о создании общества завтрашнего дня, которое истолковывалось не как другое, а как более передовое. Буржуазия считала своей задачей сменить аристократию, а относительно пролетариата было заявлено о его историческом долге сменить буржуазию.

В тот момент, когда начинают объяснять социальную действительность только общественными отношениями, отношениями между действующими лицами, значение которых определяется в зависимости от способа воздействия общества на самого себя, социология перестает отождествляться с эволюционистской философией истории. Существуют, с одной стороны, формы производства обществом самого себя, то есть историчность, с другой, формы перехода от одного [79] типа общества (я предпочитаю говорить не о типе общества, а о системе исторического действия) к другому. Речь вовсе не идет о полной ликвидации всякого интереса к социальной эволюции, а о различении прежде всего анализа систем общественных отношений и анализа способов перехода от одного состояния общества к другому. Структура и генезис должны быть разделены между собой.

Такое разделение стало возможно начиная с того момента, как появился тип индустриального общества, сильно отличающийся от британской модели. Французский или немецкий опыты, несмотря на их важные отличия, еще принадлежат к той же английской модели. Напротив, Советская революция изобрела совершенно иной путь индустриализации. С тех пор «пути» умножились до такой степени, что никто уже не может удовлетвориться поверхностной теорией конвергенции, как если бы разные дороги все вели в Рим, то есть к некоему общему типу социальной организации.

Значит, нужно одновременно говорить об индустриальном обществе и о капиталистическом, социалистическом — или других путях индустриализации. Давно пора разоблачить эти коллективные персонажи истории, громоздкое присутствие которых нам навязало прошлое столетие. Сейчас говорят только о цивилизациях и способах производства. Вопреки всякой очевидности, считают еще себя вынужденными называть наши общества «капиталистическими», тогда как

они должны бы скорее называться индустриальными. Социология вообще не может существовать, если не освободиться от этих персонажей, определяемых в зависимости от смысла Истории.

Нужно совершенно разделить между собой тип общества, индустриальное общество, и способ развития — индустриализацию, — каковой на Западе был повсеместно капиталистическим. Индустриальное общество определяется не своей техникой, а классовыми отношениями, способностью некоего социального слоя менять организацию труда и присваивать протекающую из нее прибыль. Это происходит одинаково хорошо в СССР, как и в Соединенных Штатах. Зато общества, индустриализацию которых осуществляет национальная буржуазия, национальное государство, революционная партия или иностранная буржуазия, глубоко между собой отличаются.

Таким образом, положение рабочего в индустриальном обществе имеет два очень разных аспекта. Первый из них определен организацией труда, второй — местом в отношении к правящей элите. Параллельно, если говорить о капиталистическом обществе, нельзя полностью смешивать индустриализаторов, осуществляющих [ :80 ] классовое господство, и собственно капиталистов, которые действуют скорее в соответствии с рыночной экономией, чем индустриальной.

### Заключительные замечания

Общественная мысль индустриальной эпохи разработала три фундаментальные темы, на которых основывается социологический анализ: таковы социальная система, общественные конфликты, культурные ориентации действия. Имена Дюркгейма, Маркса и Вебера стали их символами, хотя вклад каждого из них не может быть сведен к одной из названных тем. Но последние до сих пор еще не могли непосредственно объединиться, ибо общество, в котором они проявились, еще не было способно к самоанализу. В нем господствовали две идеи, чуждые социологии.

Первая из них состояла в том, что смысл общественной ситуации надо искать вне нее, в метасоциальном мире, который одни называют ценностями, другие природой. Вебер, задумываясь над причинами экономического и политического успеха западного мира, а значит, над причинами капитализма, рационализации и секуляризации, обратился к — в данном случае религиозным — ценностям, и увидел во всяком коллективном действии столкновение между этикой долга и этикой ответственности. Маркс зрелого периода анализировал не только капиталистическую систему. Он исследовал фундаментальные потребности, потребительную стоимость, образ общества, свободного от капиталистической эксплуатации — установив, таким образом, противоречие между природой и обществом, что представляет лишь пролетарскую интерпретацию общего дуализма, буржуазной трактовкой коего был анализ Вебера. Наконец, Дюркгейм, настаивая больше, чем кто-либо другой, на идее системности общества, сделал из общества сущность, силу, которая гораздо более тяготеет над действующими лицами, чем цель их взаимоотношений.

Вторая идея, которая тормозила рождение социологического анализа в собственном смысле слова, заключалась в эволюционизме и связанной с ним философии истории. Общество определялось его местом в эволюции, в отношении к той или другой форме прогресса, смысл эволюции рассматривался как центральный принцип интерпретации. Весь XIX век мечтал о современности, прогрессе, будущем.

Переход от общественной мысли к социологическому анализу осуществляется медленно и трудно. Последний не может осознать себя без вклада Маркса, Вебера и Дюркгейма. Но он в то же время не может [ :81 ] сформироваться без глубо-

кого разрыва с двумя только что упомянутыми принципами, которые определяют историческую принадлежность этих мыслителей к культуре индустриальной эпохи.

Указанная трансформация означает наличие крупных кризисов. Сейчас мы переживаем еще трудный переход, во время которого общественная мысль может начать разрушаться прежде, чем сложится социологический анализ. Кажется, что каждая из трех главных названных тем «десоциологизируется». Те, кто настаивает на социальных конфликтах и говорит от имени марксистской традиции, очень часто противопоставляют социальный порядок тому, что он исключает, и таким образом возвращаются к утопиям и к слабостям утопического социализма. Те, кто наиболее чувствителен к проблемам действия, оказываются часто экспертами, приближенными к сильным, и стремятся ориентировать их решения и стратегию. Те, наконец, кто говорит о социальной системе, видят в ней скорее аппарат производства и интеграции, чем область конфликтов и изменений.

Но настал момент воссоединить социологию. То, что мы называем обществом, является системой, но это система действия. И действие означает не только решение: оно предполагает и культурные ориентации, существующие в области конфликтных социальных отношений. Конфликт не означает ни противоречия, ни бунта, он является социальной формой историчности, самопроизводства общества. Мало-помалу вне эволюционизма формируется анализ обществ, которые в результате долгого периода роста и кризисов, атомных угроз, тоталитаризмов и революций, пришли к убеждению, что они должны познать самих себя в качестве продукта собственного действия, а не как проявления человеческой природы, смысла истории или первоначального противоречия. По ту сторону соперничества школ и ограниченности специализации происходит мутация социологии.

## **Общественные движения: особый объект или центральная проблема социологического анализа?**

Может ли социология, определяемая чаще всего как анализ функционирования социальной системы, уделить внимание изучению общественных движений? Или, напротив, нужно попытаться реконструировать социологию на основе изучения последних? Второе [82] решение уже было предложено в двух самых разных формах. С точки зрения одних, нужно отказаться от идеи социальной системы и признать, что все является изменением и что общественные движения являются агентами изменения. С точки зрения других, напротив, нужно сохранить идею социальной системы, но реконструировать ее, исходя из анализа общественных движений, того культурного поля, в котором они находятся, и форм институционализации их конфликтов.

Прежде всего эмпирическая иллюзия должна быть решительно отброшена. Невозможно определить объект, называемый «общественными движениями», не выбрав сначала общего способа анализа общественной жизни, с помощью которого могла бы быть установлена некоторая категория фактов, называемых общественными движениями. Существуют многочисленные чисто эмпирические исследования конфликтов, но часто непонятно, о чем они на самом деле говорят. Что не мешает некоторым из них иметь большую ценность в том, что касается описания определенных событий.

Если, напротив, стремятся к созданию и анализу общих категорий, то нужно изначально признать существование по крайней мере трех типов конфликтов, направленных на изменение одного или нескольких важных аспектов социального и культурного устройства. Чтобы внести в термины некоторую ясность, я предлагаю называть *коллективными поведением* те из конфликтных действий, которые

могут быть поняты как усилие защиты, реконструкции или адаптации некоего большого элемента социальной системы, идет ли речь о ценности, норме, властном отношении или самом обществе. Именно в этом смысле Нейл Смелсер употреблял выражение *collective behaviour* (Neil Smelser. *Theory of Collective Behaviour*. New York. Free Press, 1963). Если, напротив, конфликты анализируются как механизмы модификации решений, а значит, как факторы изменения, как политические силы в самом широком смысле слова, я предлагаю говорить о формах *борьбы*. Наконец, когда конфликтные действия стремятся изменить отношения социального господства, затрагивающие характер использования главных культурных ресурсов — производства, знания, этических правил, — я буду употреблять выражение *общественное движение*. Можно, естественно, избрать другие термины, я выбрал эти, потому что они мне кажутся самыми близкими к обычному употреблению. Главное ясно различать названные три способа конструирования определенной области наблюдаемой реальности, ибо один и тот же конфликт может анализироваться одним, двумя или тремя из них, так что социологический анализ не [83] может заменить собой исторического анализа, который схватывает конфликт во всей его специфической сложности.

### Коллективное поведение

Большое число конфликтов может быть проанализировано наилучшим образом в виде результатов разложения и усилия по реконструкции находящейся под угрозой социальной системы. Например, иммигранты создают гомогенную общность, но она мало-помалу дифференцируется, одни богатеют, другие беднеют, некоторые женятся за пределами группы: общность оказывается под угрозой. Тогда появляется мессия или пророк, стремящийся восстановить прежние нравы, гомогенность и интеграцию общности. Такое измерение занимает важное место кроме уже упомянутых мессианских или фундаменталистских движений в так называемых реформистских движениях и даже в революциях, какой была революция в Англии XVII века. Точно так же, большая часть профсоюзной деятельности состоит в защите квалификаций и вознаграждений от последствий технических, рыночных изменений или от решений, принятых на предприятии. Эти примеры показывают, что область такого рода поведений не перестает сужаться в обществах, подверженных быстрым изменениям, с богатым разнообразием форм, где степень однородности и интеграции более слаба, чем в так называемых традиционных обществах. Коллективные действия в индустриальных обществах чаще определяются стремлением господствовать над изменениями, направлять будущее, чем волей к сохранению прошлого или возврата к нему.

Между тем, эти формы реформаторского и объединяющего поведения с какого-то времени обретают, кажется, некоторую значимость в силу того факта, что «современные» ценности — изменение, рост, развитие — долго считавшиеся неприкосновенными, как и прогресс, как естественное движение истории, оказываются поставлены под вопрос. Особенно это относится к зависимым или колонизованным странам, где идущие из-за пределов страны модернизация и индустриализация перевернули традиционную социальную и культурную организацию. Подобные движения, уже наблюдавшиеся в Азии, Латинской Америке или в Африке во время большого периода колониальной экспансии в XIX веке, недавно значительно развились вновь. Свидетельство этому успех хомейнизма в Иране. Также в коммунистическом мире вновь возрождаются формы национального [84] сознания, тогда как в «первом мире», то есть в западных индустриальных странах, распространяются идеи общности и идентичности, которые ведут за собой действия, во многом соответствующие тому, что я назвал коллективным поведением.



Смысл коллективного поведения неизбежно очень далек от сознания действующих лиц, потому что он определяется в зависимости от функционирования социальной системы, а не от представлений и проектов действующих лиц (в той же степени, что и самоубийство в анализе Дюркгейма). Вот почему формы коллективного поведения в существенной части гетерономны, зависят от внешних экономических или политических принуждений или приводятся в движение руководителем, стоящим во главе секты или фундаменталистского движения и идентифицируемым с порядком, нуждающимся в восстановлении.

## **Борьба**

Итак, соотнесение с обществом, с общественным порядком все более и более начинает в наших странах определять не те действия, которые связаны с изменениями, а те, которые с ними борются во имя прежнего или нового порядка. Это уводит нас очень далеко от того, что мы инстинктивно называем «движением». Вот почему в индустриальных странах естественная склонность участников и наблюдателей социальных конфликтов заключается, напротив, в том, чтобы видеть в конфликтах механизмы изменения. Но само это определение не имеет того же смысла, что в прошлом веке. Тогда рабочее движение было действующим лицом самых важных конфликтов, оно казалось носителем новых ценностей, то есть прогресса и индустриализации, и оспаривало одновременно существующие формы присвоения названных ценностей.

Сегодня центральная роль общественного движения как главного агента исторических изменений поставлена под вопрос, не видно хорошенько, что объединяет эти многочисленные конфликты, которые не обращаются к центральным ценностям, не оспаривают господствующую власть, а только имеют в виду изменить некоторые соотношения сил или некоторые особые механизмы решения. При этом агенты изменения вовсе не могут быть определены глобально, от имени какого-то «смысла Истории». Может быть, еще более, чем в мире труда, в городской жизни можно констатировать переход от центральных общественных движений к частным формам борьбы. [:85] Многочисленные исследования форм современной городской борьбы показывают, что речь чаще всего идет об ограниченных действиях, направленных против собственников или административных властей с целью добиться лучших жилищных условий. Растущее число форм городской борьбы стремится даже приблизиться к тому, что здесь названо коллективным поведением, когда они становятся на защиту находящейся под угрозой окружающей среды. Например, такова — победоносная — борьба, которая проводилась в Мадриде с целью охраны исторического центра города.

Такая борьба тем более существенна, чем более непосредственно она стремится получить доступ к власти принимать решения, то есть чем больше она объединяется с какой-либо политической партией. Вот почему во многих больших индустриальных странах социал-демократия (как в ее революционном, так и в реформистском течениях) тесно связала социальную борьбу с политическим действием и ее фактически ему подчинила, считая главной целью захват политической власти.

## **Общественные движения**

Говорить о коллективном поведении — значит рассматривать конфликты как ответы на ситуацию, которая должна быть понята сама по себе, то есть в терминах интеграции или дезинтеграции некоей социальной системы, определенной принципом единства. Напротив, говорить о борьбе — значит обращаться к стратегической концепции социального изменения. Борьба предполагает не ответы, а иници-

ативы, направляющие действия, которые не приводят и не имеют целью привести к созданию социальной системы. Вот почему идея борьбы связывается более или менее прямо с представлением об обществе или как рынке, или как поле битвы. Между конкуренцией и войной существует много других конфликтных стратегий, но они больше не соотносятся с идеей социальной системы с присущими последней ценностями, нормами и институтами.

Переход от борьбы к общественным движениям, напротив, устанавливает, но переворачивая его, отношения между коллективным действием и социальной системой. Приведем пример. На заводе формируются движения для борьбы против неравенства заработной платы среди рабочих сопоставимой квалификации (простой пример коллективного поведения) или за увеличение влияния наемных рабочих на решения, которые сказываются на условиях их труда, что [86] составляет борьбу. Но организация самого предприятия не является выражением технической рациональности, как не является она непосредственным результатом постоянно меняющегося соотношения сил. Свойство индустрии состоит в том, что воздействие держателей капитала распространяется на область от продажи продукции до условий труда производителей, объединенных на фабрике и властно подчиненных некоей коллективной организации труда. Рабочие борются с этим господством и стремятся завоевать для трудящихся или коллектива в целом контроль над организацией труда и ресурсами, созданными промышленной деятельностью.

Согласно этому определению, общественное движение никоим образом не является ответом на общественную ситуацию. Напротив, эта последняя составляет результат конфликта между общественными движениями, борющимися за контроль над культурными моделями, историчностью. Такой конфликт может привести к распаду политической системы или, напротив, к институциональным реформам, он повседневно проявляется в формах общественной и культурной организации, во властных отношениях. Общественное движение — это конфликтное действие, с помощью которого культурные ориентации, поле историчности трансформируются в формы общественной организации, определенные одновременно общими культурными нормами и отношениями социального господства.

Все более и более ускоренное ослабление понятия общества и самой классической социологии вынуждает нас выбирать между двумя путями: с одной стороны, социология чистого изменения, с которой понятие борьбы занимает важное место, с другой, социология действия, которая основывается на понятиях культурных моделей и общественных движений. Большая часть общих споров о социологии может быть понята как конкуренция, конфликт или компромисс между этими тремя направлениями.

Классическая социология рождена в Великобритании, Германии, Соединенных Штатах, Франции, то есть в странах, которые основали столь различные политические, экономические и культурные целостности, что можно было говорить не только об обществах, но и о социальных действующих лицах (например, профсоюзах или объединениях хозяев) национально определенных. Сегодня ситуация другая: многие действующие лица защищают свои интересы на рынках или в тех областях конкуренции и конфликтов, которые больше не определяются глобальной национальной реальностью, а зависят от сформировавшихся на международном уровне технологий, [87] экономической конъюнктуры, стратегических конфликтов, культурных течений. Сегодня никакое общественное движение не может отождествить себя с совокупностью конфликтов и сил социального изменения, замкнутых в национальных рамках. Таким образом, поле борьбы становится все более автономным (эта тенденция могла бы измениться в других общественных обстоятельствах) по отношению к общественным движениям, а формы коллективного поведения стремятся все больше стать тем, что я назвал *общественными*

*антидвижениями*. Происшедшее на большей части планеты разделение между способами экономического развития и формами функционирования экономической и социальной систем спровоцировало действительно новое массовое появление социальных конфликтов и коллективных действий, осуществляемых в целях социальной и культурной интеграции общества. Такое сильное разделение общественных движений, форм борьбы и коллективного поведения способствует социологии, сосредоточенной на анализе общественных движений во избежание опасности превращения ее в философию истории. Невозможно больше осуществлять социологический анализ в рамках эволюционистского представления, которое предполагало переход от традиционного к современному, от механической солидарности к органической, от общности к обществу. Но также невозможно вследствие исчезновения гегемонии центральных капиталистических стран над миром отождествлять их историчность и их собственные общественные движения с универсальной Историей, этапы которой якобы обязательны для всех стран.

Нужно, значит, порвать с классической идеей, которая отождествляла человеческое творчество с его результатами, историчность, определенную как разум и как прогресс, с господством над природой с помощью науки и техники. И следовательно, нужно ввести в социологический анализ другую концепцию субъекта, которая делает акцент на дистанции между творчеством и его творениями, между сознанием и практикой. Ибо если верно, что культурные модели трансформируются в социальную практику, пройдя через конфликты между противоположными общественными движениями, то им нужно еще освободиться от этой практики, чтобы конституироваться в качестве моделей инвестиции и творчества норм, что предполагает рефлексивность, отстраненность и, если употребить это столь глубоко укоренившееся в западной культурной традиции слово, *сознание*. В некоторые эпохи общественная мысль в рамках историчности уделяет больше внимания экономическим инвестициям и производству [\[:88\]](#) знания, в другие она более чувствительна к созданию и изменениям этических моделей, что заставляет придать большее значение отстраненности, чем инвестициям. Хотя по правде говоря, обе эти позиции взаимодополнительны и так же опасно впадать в моральную философию, как и в философию истории.

Понятие общественного движения неотделимо от понятия класса. Но общественное движение от класса отличается тем, что последний может быть целиком сведен к обстоятельствам, тогда как общественное движение — это действие субъекта, то есть человека, который ставит под вопрос приведение историчности к определенной социальной форме. Очень долго изучение рабочего движения сводилось к изучению капитализма, его кризисов и конъюнктуры. Еще более крайний случай такого подхода представляет изучение общественных и национальных движений в Третьем Мире в рамках анализа империализма и мировой экономической системы. В результате складывается даже впечатление, будто формирование массовых движений невозможно, их место как бы занимает вооруженная борьба, которую ведут либо партизаны, либо военизированные массы, руководимые революционной партией.

Начиная с момента, когда исчезает обращение к метасоциальному принципу и, следовательно, к идее о противоречии между обществом и природой, становится необходимо понять классы в качестве действующих лиц и рассматривать их не в связи с противоречиями, а в связи с конфликтами. Чтобы подчеркнуть это важное изменение, предпочтительнее говорить об общественных движениях, а не об общественных классах. *Общественное движение — это одновременно культурно ориентированное и социально конфликтное действие некоего общественного класса, который определяется позицией господства или зависимости в процессе*

*присвоения историчности, то есть тех культурных моделей инвестиции, знания и морали, к которым он сам ориентирован.*

Общественные движения никогда не изолированы от других типов конфликтов. Рабочее движение, ставящее под вопрос социальную власть хозяев индустрии, неотделимо от требований и давлений, имеющих целью увеличить влияние профсоюзов в экономических, социальных и политических решениях. Но на его существование указывает наличие элементов, не поддающихся переговорам, и следовательно, невозможность для профсоюза, выступающего носителем рабочего движения, осуществлять чисто инструментальное действие, остающееся в пределах цен и преимуществ. Так называемый [89] рыночный синдикализм не принадлежит к рабочему движению. В результате развиваются формы поведения, порывающие с синдикализмом: нелегальные забастовки, невыход на работу, усиленное ее торможение, акты насилия и саботажа, которые выдают присутствие рабочего движения в рыночном синдикализме или таком, в котором требования очень сильно институционализированы.

Такое наблюдение может быть расширено. Свойство представительной демократии заключается в том, что политические действующие лица зависят от социальных действующих лиц, которых они представляют, сохраняя большую или меньшую степень автономии. В результате они одновременно ведут себя и в зависимости от своей позиции в системах принятия решений, и как лица, имеющие мандаты различных групп интересов и движений. Общественное мнение воспринимает этот феномен с иронией, обращая, например, внимание на двойственность речей депутатов в зависимости от того, говорят ли они в своем округе или на заседании парламентской комиссии. Таким образом, политические дебаты могут быть тем, что я называю борьбой, и в то же время выражать общественное движение.

Таким же образом, деятельность организации не может анализироваться единственно в рамках властных отношений. Высшие чиновники принимают решения, которые объясняются также политикой, выработанной руководителями предприятий или даже собственниками. И поведение рабочих или служащих в их мастерской или бюро в большой мере находится под влиянием их представления об общем конфликте интересов, выходящем за рамки их профессионального существования.

Мы слишком привыкли говорить о переходе класса «в себе» в класс «для себя», о той ситуации, какую испытывает сознание при переходе к политическому действию. В действительности не существует класса «в себе», не существует класса без классового сознания. Зато надо различать общественное сознание класса — то есть общественное движение, которое всегда, по крайней мере диффузно, присутствует там, где имеется конфликт относительно социального присвоения главных культурных ресурсов — и политическое сознание, обеспечивающее переход общественного движения к политическому действию. Действие, направленное против социального господства, никогда не сводится к стратегии в отношении политической власти.

Данное до сих пор определение общественных движений представляет их агентами структурных конфликтов социальной системы. Но не встречаются ли общественные движения на уровне самих [90] культурных моделей, а не только на уровне их социального использования? С другой стороны, должен ли анализ общественных движений удерживаться в области синхронии, или он может проникнуть и в область изменения? Сама культурная инновация — или сопротивление ей — не может создать общественного движения, ибо последнее по определению объединяет вместе и отношение к культурным ценностям, и сознание социального отношения господства. Но культурный конфликт может включать соци-

альное измерение и, в крайнем случае, одно он всегда содержит в себе: не существует культурной модели в себе, целиком независимой от способа осуществляемого в отношении нее господства. Между чистым культурным конфликтом, возникшим, например, внутри научной или артистической общности, и культурным выражением прямого социального конфликта существует обширное поле, занятое культурными движениями, которые одновременно характеризуются и оппозицией в отношении старой или новой культурной модели, и внутренним конфликтом между двумя способами социального употребления новой культурной модели.

Движение женщин является самым значительным в настоящее время культурным движением. С одной стороны, оно выступает против традиционного положения женщин и заодно изменяет наш образ субъекта. С другой, оно разделено между двумя тенденциями, представляющими фактически противоположные социальные силы. Одна из них, либеральная, выдвигает ценность равенства и привлекает лиц высокого социального положения: гораздо интереснее требовать доступа к медицинской или парламентской деятельности, чем к занятиям, не требующим квалификации. Другая тенденция радикальная, она выступает скорее за специфичность, чем за равенство, испытывая даже недоверие к ловушкам последней, и борется одновременно против социального и сексуального господства, то ли присоединяя деятельность женщин к пролетарскому движению, то ли разоблачая собственно сексуальное господство, то ли, наконец, противопоставляя реляционистскую концепцию общественной жизни, более близкую биопсихологическому опыту женщин, технократической концепции мужского происхождения.

Культурные движения особенно важны в начале нового исторического периода, когда политические действующие лица не являются еще представителями новых требований и общественных движений и когда, с другой стороны, изменения культурного поля вызывают глубокие дебаты о науке, экономических инвестициях и правах. [91] Наряду с общественными движениями в строгом смысле слова и культурными, или точнее, социо-культурными движениями, нужно еще признать существование *социо-исторических* движений. Последние располагаются не внутри поля историчности, как общественные движения, а в области перехода от одного общественного типа к другому (перехода, самой исторически важной формой которого является индустриализация). Новый элемент состоит здесь в том, что конфликт завязывается вокруг управления развитием и что, следовательно, господствующим действующим лицом не является правящий класс, определенный его ролью в способе производства, а правящая *элита*, то есть группа, которая руководит развитием и историческим изменением и определяется прежде всего отношением к *государственному* управлению. Социо-историческое движение может быть или соединено с индустриализаторским государством, или противопоставлено ему. Противники стремятся сообща к развитию, модернизации, но один хочет укрепить способность к инвестициям и к мобилизации со стороны государства, каким бы оно не было, между тем как другой взывает к Нации и народному участию.

Существует некоторое родство между перечисленными тремя типами движений. Это объясняет позицию тех, которые, присоединившись к революционной традиции, могли утверждать, что существует глубокое единство между рабочим движением, движением национального освобождения и женским освободительным движением. Но гораздо важнее подчеркнуть глубокие различия, которые их разделяют и мешают им объединиться. Так, в Третьем Мире существует не союз, а постоянная противоположность классовых и националистических движений. Эти два типа движений могут объединиться только под эгидой революционной националистической партии и всегда ценой разрушения как одного, так и другого, ибо партия, которая их поглощает, становится тоталитарной. Точно так же, по-

пытка сближения между рабочим и женским движениями приводят к таким трудностям, что большая часть борцов-радикалов начала отходить от профсоюзной или политической деятельности в силу того, что она пренебрегает специфическими требованиями женщин.

### Действие, порядок, кризис и изменение

Только что рассмотренная совокупность проблем составляет одну из больших «областей» социологического анализа, относящуюся к [ :92 ] социальному действию. Но существуют также и другие «области». Свойство социального действия заключается в том, что оно всегда анализируется в терминах неравных социальных отношений (власть, господство, влияние, авторитет). Но социальные отношения никогда не остаются полностью «открытыми», уже было сказано, что они закрываются, трансформируются в *социальный порядок*, поддерживаемый агентами социального и культурного контроля и в конечном счете, государственной властью. Этот социальный порядок может также войти в *кризис*, особенно когда его стабильность противостоит изменениям окружающей среды, так что к областям социального действия и порядка добавляется область кризиса. Наконец, в одном и том же типе общества, в данном случае индустриальном, социальные отношения и формы порядка находятся постоянно в *изменении*. Вопрос, может ли анализ общественных движений выйти из его собственной области и проникнуть в области порядка, кризиса и изменения?

Нужно устранить всякую претензию социологии общественных движений на гегемонию: она не управляет целиком и полностью исследованием порядка (а значит, также репрессии и устранения), так же как кризиса или изменения. В настоящее время все происходит даже таким образом, будто социология общественных движений является одной из самых слабых, наименее разработанных областей социологического анализа. Однако нельзя удовлетвориться и тотальным методологическим плюрализмом, который бы привел к полному расчленению социальной действительности и ее анализа.

Проникновение социологии общественных движений в то, что я назвал областью порядка, кажется почти невозможным, настолько эти два интеллектуальных направления противоположны. Вот уже по крайней мере двадцать лет начиная с Маркузе и до Фуко, с Альтюсера и до Бурдьё вся совокупность их, впрочем, часто различных между собой размышлений завоевала широкое влияние в общественных науках. Она поддерживает убеждение, что современное общество подвергается все более строгому контролю и наблюдению, так что общественная жизнь представляет собой только систему знаков безраздельного господства. Невозможно, таким образом, оказывается любое общественное движение, которое было бы чем-то большим, чем возмущение, быстро отбрасываемое на края «одномерного общества». Фактически, растущее воздействие общества на самого себя не увеличивает общественное пространство, а заставляет его исчезнуть, давая центральной власти средства вмешиваться во все [ :93 ] сферы социальной организации, культурной жизни и индивидуальной личности. Правда также, что живые протесты шестидесятых годов сменились длительным ослаблением общественных движений.

Эти пессимистические концепции имели тем больше влияния, что исследования в областях обучения или социального труда показали бессилие последних в борьбе против социального неравенства и даже тенденцию его укреплять с помощью механизмов отбора. Поэтому социология общественных движений сталкивается сегодня не столько с социологией институтов и социальной системы. — ослабленной вследствие культурных и общественных кризисов, — сколько с социологией идеологических аппаратов государства. Отсюда важной кажется задача

проникновения социологии общественных движений на эту, по-видимому, чуждую ей территорию.

Подчеркнем сначала, что теперь можно видеть ограниченность тезисов, согласно которым школа или социальный труд представляются институтами, не способными ощутимо уменьшить общественное неравенство. Этим предполагается, что преподаватели или воспитатели не могут никоим образом реально быть действующими лицами. Таким безапелляционным утверждениям можно противопоставить много исследований (Roger Girod. *Politique de l'éducation*. PUF, 1981), из которых с очевидностью следует, что неравенство в исходном пункте дано только частично и развивается затем внутри школьной системы и с ее помощью. Безличную ответственность «системы» нужно, значит, заменить индивидуальной или коллективной ответственностью преподавателей. Уменьшению неравенства шансов (эта тема была развита Жаном Фукамбером: Jean Foucambert. *Evolution comparative de quatre types d'organisation à l'école élémentaire*. JNRDP, 1977–1979) служит все то, что позволяет ограничить установленный школьный порядок в пользу активного обучения, когда ребенок выступает не только школьником, а индивидом, признанным во множестве его социальных ролей (включая занимаемое им в классе место).

Во-вторых, отметим, что порядок никогда не царит абсолютно. Говорят об идеологическом контроле, манипуляции, отчуждении, но в действительности прежде всего существуют физические репрессии, насилие и бунт, сведенные к своим деградировавшим формам. Как молчание никогда не царит тотально в условиях рабства и в лагерях, ибо всегда существует сопротивление и, следовательно, прямая борьба, так всегда позади видимости порядка живут социальные отношения господства и протеста. Исключительный пример этого мы [94] имели недавно, когда вдребезги разлетелась слишком поверхностная идея, согласно которой тоталитарные режимы могли бы упрочиться до такой степени, что оказалась бы бессильной или полностью маргинализованной всякая оппозиция. В один прекрасный день Польша увидела, что официальный порядок разрушился и общественная жизнь возродилась, подобно Лазарю, выходящему из могилы. В несколько недель повсюду возникли действующие лица, дебаты, конфликты, переговоры. Это доказательство бессилия режима, если ему не оставлена возможность прибегнуть к силе государства. Точно так же в других по видимости безмолвных странах ослабление или кризис репрессивной системы может освободить общественную жизнь, оставшуюся живой вопреки преследованиям и засилью «казенного языка». Не замечательно ли видеть, как она оживает там, где казалась раздавленной — в Бразилии и даже в Чили, в Польше, Румынии и даже в Китае? Самое потрясающее в творчестве Солженицына не столько описания ужасов Гулага (которые, к тому же, были известны), сколько то, что он заставил услышать голоса, не замолчавшие даже под угрозой истребления.

Если обратиться к анализам в рамках кризиса, то обнаружится, что они более открыты для идеи общественного движения, чем анализы в области порядка. Возьмем самый актуальный пример социальных последствий безработицы. Посвященные этому предмету многочисленные исследования очень часто говорят только об анонии и маргинальности. В тридцатые годы было, наоборот, трудно удовлетвориться разговорами о психологических последствиях безработицы и о маргинализации. Тогда в Америке проходили голодные марши и в Европе безработица питала фашистские движения. Углубимся далее в прошлое. Возможно было бы в XIX веке полностью отделить так называемые «опасные классы» от «трудящихся классов»? В более близкое к нам время в Окленде могли ли рассматривать маленькую группу «Черная Пантера» только как банду молодых черных маргиналов? Так же сегодня относительно молодых иммигрантов из Мэнгетты труд-

но сказать, являются ли они простыми маргиналами или участниками нарождающегося общественного движения?

Действительно, кризис чаще заставляет родиться не общественные движения, а поведение отклоняющегося от нормы гиперконформизма (William Foote Whyte. *Street Corner Society*. University of Chicago Press, 1965), секты и другие формы общественных антидвижений. Но во всех случаях очевидна недостаточность анализа, ограничивающегося [95] только исследованием кризиса и разложения общественной организации.

Рассмотрим, наконец, формы поведения, связанные с изменением. Эти последние кажутся очень близкими общественным движениям, так что их часто смешивают и здесь нужно четко определить разделяющую их дистанцию. Пространство социального изменения имеет, фактически, два склона. С одной стороны, оно связано с социальными отношениями и последствиями институционализации конфликтов, то есть с реформами, с другой, с развитием, то есть с переходом от одного культурного и общественного поля к другому. Именно такое необходимое разделение искусственно составленного целого позволит социологии общественных движений проникнуть в эту сферу общественной жизни.

Во всех этих различных случаях употребляется и является важным понятие *подкрепления*. Наблюдаемые формы поведения, действительно, могут быть поняты как ответы на интеграцию или исключение, на кризис или изменение, но такие толкования упускают из виду важный остаток, который может быть проанализирован только как совокупность косвенных следствий то ли формирования, то ли, напротив, отсутствия общественных движений. Там, где конфликт не формируется, царит искусственное единство порядка, но также насилие и отступление. Понятие подкрепления имеет то преимущество, что считается с автономией соответствующих более прямо той или иной области общественной жизни способов анализа, утверждая одновременно существование общих принципов анализа. Добавим, что говоря о подкреплении, мы вовсе не хотим сказать, что объяснение в терминах общественных движений подходит лучше, чем другие, для исследования любой исторической действительности. Ослабление многих недавних конфликтов, особенно экологических, доказывает, напротив, слабость их веса в общественном движении и определяющую роль в этой области поведений другого типа. Признаем даже, что каждый в соответствии со своими целями и перспективами может организовать социологический анализ в целом вокруг того или иного общего подхода. Таким образом, чем больше заняты прикладной областью социологических исследований (например, чтобы приготовить социальную политику), тем более плодотворным оказывается анализ в терминах социальной системы, интеграции и кризиса. Напротив, когда стремятся к исследованию обширных и сложных общественных объединений и к определению природы тех общественных сил, которые смогут их трансформировать [96], то понятия историчности и общественного движения должны занять центральное место.

Многие считают, что наше общество не может породить новых общественных движений. Такое мнение подкрепляется разными аргументами: тем, что общественные движения были бы поглощены непреодолимым подъемом государств, которым принадлежат функции управления и объединения, или тем, что обогатившееся общество способно поглотить все напряжения, или, наконец, тем, что общественные движения были продуктом обществ накопления, подверженных быстрым изменениям, тогда как мы, де, возвращаемся к обществам равновесия. Напротив, те, кто стремятся понять новые общественные движения, защищают другое представление о нашем обществе и его будущем. С их точки зрения, мы входим в новый способ производства, который, пробуждая новые конфликты, породит и новые общественные движения, расширяя и разнообразя общественное



пространство. Но может быть, это движение приведет также к более глубоким и более способным к манипуляции формам господства и общественного контроля.

## **Два лица идентичности**

Тема идентичности приобретает новое значение в гуманитарных науках. Это социальный факт, проявление внутри особой профессиональной группы общей чувствительности к упомянутой культурной и этической теме. Как не установить связь между этим интересом психологов и социологов и появлением или развитием во всех частях мира и почти во всех областях общественной жизни требований, социальных или национальных движений, которые направлены к защите коллективной или личной идентичности? Это не должно нас побудить уступить идеологии и довольствоваться определением своих мнений на основе мнений других. Но мы не должны больше забывать, что наша главная задача состоит в размышлении о социальных фактах и извлечении из этого понятий и инструментов анализа. Для социолога исходная точка должна быть следующей: призыв к идентичности означает призыв к несоциальному определению социального действующего лица. Для него действующее лицо определено своими социальными отношениями. Таково определение роли, которое может одинаково хорошо применяться как к классовым, так и к межличностным отношениям. Значит, призыв к идентичности [97] представляет собой прежде всего отказ от социальных ролей или, точнее, отказ от социального определения ролей, которые должно играть действующее лицо.

Чаще всего призыв к идентичности сопровождается обращением к метасоциальному гаранту общественного порядка, в частности, к человеческой сущности или просто к некоей общности, характеризующейся ценностями, каким-либо природным или историческим атрибутом. Но в нашем обществе призыв к идентичности чаще соотносится не с метасоциальным гарантом, а с инфрасоциальной, природной силой. Призыв к идентичности становится, в противовес социальным ролям, призывом к жизни, свободе, творчеству. Наконец, государство также обращается к идентичности в противовес социальным ролям, пытается навязать идею единства, высшего по отношению ко всем особым объединениям и способного навязаться им. Особенно национальное государство взывает к гражданственности и, соответственно, к патриотизму в противовес всем социальным, профессиональным и географическим различиям. Таким образом, индивидуальный или коллективный призыв к идентичности составляет оборотную сторону общественной жизни. Тогда как последняя представляет сеть отношений, местом пребывания идентичности являются одновременно индивиды, общности и государства.

## **Большой поворот**

Мы привыкли рассматривать современную историю как трудный, но необратимый переход от особенного разного рода к универсальному. Не имеет ли с давних пор целью наша система воспитания вырвать ребенка из той среды, в которой он родился и рос, и открыть ему более широкие возможности или сообщить ему факты, мысли и творения, значение которых считается универсальным или образцовым? Мы живем еще как наследники философии Просвещения. В западных странах в особенности левая постоянно противостоит традиции и господству местной знати. Если она взывает постоянно к государству, то, как она думает, для того чтобы использовать его силу, отождествленную с коллективной волей, в борьбе против владельцев и хранителей традиции.

Мы можем умножать примеры, но уже приведенных достаточно для напоминания, что до совсем недавнего времени мы анализировали наш собственный исторический опыт с помощью идеи прогресса, отождествляя последний с переходом от традиции к инновации, от [98] веры к разуму и от идентичности к демократии, то есть к механизму изменения. Некоторые готовы идти гораздо дальше и анализировать наши общества исключительно с точки зрения их изменения, отказавшись от всякого усилия определить то, что обычно называют их социальными структурами и, следовательно, от всякой попытки типологии и тем более от представления об исторической эволюции.

Эта общая концепция имеет две разные формы. Прежде всего либеральную, крайним завершением которой является упомянутая идея. Историческая эволюция предстает в этом случае в виде перехода от закрытых обществ к открытым, от контролируемых к свободным. Другая форма, напротив, связана с видением эволюции как перехода от абсолютной власти к демократии, то есть предполагает сведение власти к неким последствиям социальных отношений благодаря прогрессу представительной демократии в чисто политической или экономической областях. Эти две концепции ведут к совершенно противоположным следствиям, но обе они принуждены вычеркнуть понятие идентичности из своей идеологии.

Удивительно наблюдать, с какой скоростью такое представление разлагается или отбрасывается. Самым важным фактом в этой связи становится быстро возрастающая роль зависимых обществ, борющихся против своей зависимости или против колонизации. В прошлом веке казалось, что только «центральные» общества имеют историю, в современной же истории все более доминирует политика национального и социального освобождения. Если европейский XIX век мечтал об отмирании государства, о триумфе гражданского общества и демократии, то для XX века характерен подъем государств, борющихся против господства гегемонистских держав. Перед лицом господства с универсалистскими претензиями эти государства взывают к идентичности. В силу этого национализм, который европейцам казался все более архаическим источником разрушительных войн, сегодня на мировой сцене возрождается как «прогрессистский». А универсалистский и прогрессистские ценности Европы все более выступают инструментами ее идеологического господства над остальным миром и вследствие этого орудием ее особых интересов.

Внутри самих развитых индустриальных обществ в идее прогресса пробита брешь, в особенности это касается веры в бесконечный прогресс производства. Вместо того чтобы чувствовать себя сеньорами и хозяевами природы, мы оказываемся перед выборами, которые не сводятся к вопросу о количественных изменениях, а касаются скорее характера различных отношений между людьми и их окружением, а [99] также людей между собой. Мы заменяем, таким образом, идею бесконечного прогресса идеей выбора, который осуществляют особые коллективы относительно образа жизни и общественной организации также особого типа.

Наконец, если прежде призыв к государству имел универсалистский характер, был проявлением оппозиции в отношении традиционных местных форм господства, то современное развитие государственной власти как в области культуры и особенно информации, так и в экономической области, побуждает нас противопоставить этой растущей силе, имеющей интенции к тоталитаризму, сопротивление со стороны локальных коллективов и даже частной жизни.

На еще более общем уровне мы в наших гиперсложных обществах заменяем идею о том, что эффективность связана с гомогенностью и однообразием, противоположной идеей о ее связи с количеством информации, созданной и сохраняемой в системе, то есть с ее разнообразием. Мы не считаем более преимуществом

забвение местных культур и языков и участие всех в универсалистском варианте французской или английской культуры. Напротив, нам все больше кажется, что богатство целого зависит от его разнообразия и гибкости.

Мы оказываемся, таким образом, перед трудным выбором. Очень малочисленны, по крайней мере в наших обществах, лица, которые полностью отрицают то, что можно бы назвать прогрессистским образом истории и для которых страны мира различаются лишь качественно. Еще менее многочисленны лица, которые желают общего поворота назад и придерживаются целиком регрессивного образа прогресса. Но в то же время распространяется призыв к специфичности, различию, национализму и всем формам идентичности. Мы, таким образом, оказываемся в почти полном смятении.

Возьмем один пример из области политики. Левая и крайне левая революционного вдохновения, имеющая, таким образом, универсалистские интенции, поддержали движение национального освобождения и государства, призывающие к идентичности. В результате они, как египетские коммунисты при Насере или иранская левая после падения шаха, оказались в тюрьмах недавно прославлявшегося ими лидера. Смятение становится еще большим, когда эти националистические темы, как будто перешедшие к левой, становятся вдруг на прежнее место, то есть переходят к новой правой, которая, например, во Франции объявляет себя сторонницей французского национализма, опирающегося на специфическую культурную [100] традицию и готового к защите того, что ему кажется ее превосходством. Здесь может включиться рефлексия общественных наук, поскольку социальные практики, кажется, несут противоположные смыслы.

### **Поведение в ситуации кризиса**

Необходимо прежде всего постараться объяснить двусмысленность понятия идентичности и связанных с ней идей и движений.

В современных условиях социальное господство более проникающе и более разнообразно, хотя оно во многом менее грубое, чем в обществах прежнего типа. Технократические аппараты обладают способностью формировать спрос в зависимости от контролируемого ими предложения, пробуждать потребности и, таким образом, непосредственно вмешиваться в область культуры, определения ценностей, не ограничиваясь сферами производственных отношений или распределения благ. В результате защита от такого господства не может больше ограничиваться уровнем общности или ремесла, как это было еще возможно в индустриальных и доиндустриальных обществах. Такая защита теперь апеллирует к наименее социальному в человеке. На коллективном уровне она обращается к природе, на индивидуальном — к телу, бессознательному, межличностным отношениям, желанию. Но такая защита может стать общественным движением или просто породить способность коллективного действия только при условии объединения ее с контрнаступательным движением. Таким же образом защита жизни, культуры и квалификации рабочих могла питать рабочее движение, только включившись в контрнаступательное движение, которое потребовало заводы для рабочих и создания общества производителей. Это контрнаступление иногда символизируется лозунгом самоуправления. Так как находящиеся в зависимом положении не могут более удовлетворяться достигнутым, они требуют прежде всего возможности самим определять выбор, который влияет на их общественное и личное существование. Это контрнаступательное действие далеко, таким образом, от идеи историчности. Оно является непосредственно политическим, обращается к идеям самоуправления, социальной и культурной демократии. Таким образом, современная социальная и политическая сцена заполнена со стороны тех, кто не имеет доступа к власти, одновременно призывами к идентичности, приобретающей все

более природный и менее социальный характер, и непосредственно [101] политическими требованиями, выраженными вследствие этого не в терминах идентичности, а в терминах социальных отношений и власти. Сказанное ведет к заключению, что призыв к идентичности означает оборонительное поведение, отделенное от всякого контрнаступательного типа поведения. Отсюда происходит его двусмысленность. Призыв к идентичности является на самом деле движущей силой социальной борьбы, так как защита — это половина действия. Но одновременно она разрушает способность социального действия, когда изолирует оборону от контрнаступления. Этот призыв к идентичности является одновременно и первым этапом создания общественных движений, и их разрушением при переходе ко второму этапу, то есть к реальному этапу создания общественных движений. Нужно теперь постараться выделить разные свойства призыва к идентичности, когда последний оказывается первым этапом создания общественного движения или, напротив, когда он выступает помехой для такого создания. Но фактически нужно различать не два, а три случая, нужно включить в их число, наряду с упомянутыми, промежуточный вариант, который соответствует уже описанным ситуациям, когда призыв к идентичности сам по себе формирует коллективное действие, но направленное больше против внешнего, а не внутреннего господства, против государства, а не против господствующего класса.

### Оборонительное поведение

В зонах доиндустриальной экономики приходится слышать призыв к защите идентичности способа производства и образа жизни. Особенно именитые граждане защищают такую коллективную идентичность, выразителями которой они были и от которой получали наибольшую выгоду. Франция знала великое множество традиционалистских региональных движений, в особенности в довоенный период в Нормандии и Бретани, но и в настоящее время во многих регионах. Эти движения региональной защиты никоим образом нельзя смешивать с движениями, стремящимися к региональному развитию, и еще меньше — с движениями национального освобождения. В других странах секты или мессианские объединения могут представлять собой защиту утопической коллективности, которой угрожает социальная дифференциация и секуляризация. В этих и во многих других случаях призыв к идентичности кажется особенно связанным с защитой традиционных элит. [102]

Второй тип призыва к идентичности более драматичен. Всякая испытывающая серьезный кризис коллективность стремится заменить свои внутренние конфликты на противостояние внутреннего и внешнего, внутренней интеграции и внешней угрозы, усиленной изменниками внутри общности, которые и станут вскоре козлами отпущения. Итальянский фашизм, еще более нацизм апеллировали к национальной и народной идентичности (*völkisch*), отождествляя природное бытие и коллективную волю, расу и историю. Таким же манером новая правая, стремясь обосновать свой национализм, обращается к биологии, то есть к воображаемому природному превосходству тех, кто был и должен остаться хозяином мира и их культурной идентичности. Последняя, с их точки зрения, может быть утрачена то ли под влиянием гедонизма, то ли в результате завоевания новыми империями.

Третий тип поведения оборонительной идентичности был проанализирован совсем недавно. Для некоторых наблюдателей, особенно для последователей Токвиля, призыв к идентичности составляет только особую форму омассовения и деструктуризации общества, все более подпадающего под абсолютную власть государства. Идентичность уже не представляется завоеванием, а скорее разрушением автономии и специфичности социального действующего лица, подпада-

ющего под манипуляции со стороны центра. Кристофер Лаш говорил о нарциссизме, имея в виду личность, находящуюся в непрерывном поиске идентичности за рамками реальных социальных отношений и, следовательно, в тех областях и условиях, которые контролируются манипуляторской властью. Идентичность оказывается тогда прерывистой серией идентификаций с моделями, произведенными массовой культурой.

### Популизм

Призыв к идентичности перестает быть оборонительным и становится силой созидания коллективного действия, только когда он противостоит не социальному изменению, а господству, считающемуся иностранным. Подъем идентитарных и даже интегристских движений — это, действительно, один из самых замечательных политических феноменов нашего времени. Сменявшие друг друга от Французской до Советской и т. д. революции постоянно обращались к освободительным силам в борьбе против Старого строя. Напротив, современные антиреволюции, самая важная из которых свергла шаха [103] в Иране, но примеры которых находим и вне исламского мира и даже у наших дверей, противостоят не Старому строю, а белой революции, то есть навязываемой извне модернизации, которая переворачивает прежнюю социальную и культурную организацию. И именно на защиту этой организации и ее ценностей поднимается народ. И чем более движение является народным, тем слабее становится роль национального государства, и чем более крайним является интегризм, тем более террористическим становится действие. Между тем, царство террора во Франции или в Советском Союзе было связано, напротив, с победой якобинского государства над народными силами. Сила такого призыва к идентичности тем более велика, чем более прямо и полно осуществляется иностранное господство. Но он вовсе не ведет к освободительному движению. В силу того что борются с неким государством и некой культурой, могут обратиться также только к культуре и государству, к абсолютному или тоталитарному государству и к репрессивной культуре. Когда движение в социальном плане оборонительное не связано с движением в социальном плане контрреступательным, его следствием может быть только укрепление государства или коммуитарной закрытости, а значит, покоящаяся в основном на исключении идентичность.

### Наступательная идентичность

Совершенно другим оказывается оборонительный призыв к идентичности, когда он дополняется и переворачивается, становясь требованием, протестом против власти, разрушающей не идентичность, а способность автономного действия коллективов и индивидов. Большинство общественных движений, формирующихся в наших обществах, могут рассматриваться как попытки перехода от оборонительной к наступательной идентичности, как силы, воздействующие на оборонительную идентичность.

Часто называют националитарными движения, которые, частично по крайней мере, превращают и переворачивают движения, оборонительные в отношении традиционной идентичности, то ли в движения за автономное региональное развитие, то ли даже в движения национального освобождения. Еще более ясным случаем в этой связи является антиядерное движение. Правда, оно бы не существовало без защитных мер в пользу локальных коллективов, которым угрожают большие объединения и культурный и экономический переворот, а также в пользу населения, которому угрожает [104] утрата физической и даже генетической идентичности. Но исследования показали, что антиядерное движение быстро сво-

рачивается, если остается на этом уровне. Оно организуется и развивается, только если это поведение защиты соединяется с антитехнократической критикой и этим обращается к современности, противопоставляя себя власти в плане предлагаемого способа развития и социальной организации. Наконец, движение женщин, которое начинается призывом в защиту идентичности, различия, специфичности и сообщества, выживает и приобретает влияние лишь постольку, поскольку оно трансформируется в движение, направленное против некоего типа социальной власти, в действие, которое женщины ведут, но не только ради самих себя, против царства силы и денег, отождествляемых ими с мужской властью. Таким образом, идентичность становится в глазах социолога не просто призывом к существованию, а также требованием некоей способности действия и изменения. Она тогда определяется в терминах выбора, а не субстанции, сущности или традиции. Но это не может произойти целиком в рамках призыва к идентичности. Нужно, чтобы этот последний был только одним из элементов, создающих общественное движение. А оно определяется в целом суммой причин и условий: защитой идентичности, сознанием социального конфликта и призывом к коллективному контролю некоторых культурных ориентации, всех крупных средств самопроизводства общества. Таким образом, переход от оборонительной идентичности к наступательной является также переходом от простого принципа действия к взаимозависимости нескольких дополнительных принципов. Переход трудный, так как он угрожает действующему лицу, в частности разъединяя некоторые области его действия, а также почти с необходимостью, вводя некоторую дистанцию между экспрессивной основой действия и его инструментальной организацией или политической стратегией. Вот почему никогда нельзя отождествлять общественное движение с требованием идентичности. Никогда рабочее движение не тождественно сознательному и организованному рабочему классу. Никогда региональная или национальная защита не является действием идущего вперед народа. Мы здесь находим самую скрытую форму значения понятия идентичности в социологической области. Призыв к идентичности является, в конечном счете, оборонительным действием социального борца против самих условий его коллективного действия. В сердце всякого общественного движения всегда существует фундаменталистская и коммунитарная тенденция, которая может быть демократическим призывом, [105] направленным от имени этики убеждения против «политизации» действия, но которая может также, действуя более негативно, перевернуть общественное движение и превратить его в секту. Таким образом, еще раз становится очевидна двусмысленность идентичности, могущей одновременно дать жизнь коллективному действию и запереть его в стенах секты.

Идентичность не может быть противопоставлена социальному участию и выполнению социальных ролей. Еще менее возможно смешение ее с ними. В доиндустриальных обществах призыв к идентичности был призывом к общественному порядку независимо оттого, была ли эта идентичность религиозной природы, национальной или даже классовой. Напротив, сегодня, если идентичность противопоставляет себя социальной жизни, она может быть только маргинализованной или манипулируемой теми, кто ею руководит. Зато призыв к идентичности может быть осознан как демократическая работа, как усилие социальных действующих лиц самим определять условия, в которых происходит их коллективная и личная жизнь. Сама социальная система оказывается при этом постоянно меняющейся и имеющей большую власть над самой собой.

## Изменение и развитие

Унаследованная нами общественная мысль могла лишь с трудом понимать социальное изменение. Не потому что она интересовалась только условиями стабильности, а напротив, потому что она основывалась на идее *эволюции*. Пока социология остается эволюционистской, она не в состоянии понять социальное изменение, ибо она не может разделить между собой анализ социальной системы и анализ изменения. Синхронический анализ занимает сегодня более центральное место, чем диахронический, не по принципиальным соображениям, а потому что именно первый порвал с эволюционизмом и сделал возможной теорию изменений. Эта идея была принята совсем недавно, по крайней мере в странах, где историческая мысль имела наибольший успех, — Германия, Франция, Англия и Италия. В течение долгого времени в этих странах существовала почти национальная оппозиция темам функционалистской социологии, которая тогда казалась тождественной американскому мышлению. Прежде всего это была ложная борьба, так как Парсонс очень ясно указывал, что его анализ общества покоится на эволюционистской концепции, на [106] унаследованной от прошлого века идее, будто движение истории ведет к увеличению инструментальной рациональности. Сейчас важнее, чем обращаться к причинам заката эволюционизма, указать на опасность того, что как будто заняло место эволюционизма и что можно назвать *историцизмом*. Если говорить о различии между ними, то эволюционизм, воплотивший в себе англосаксонский дух, стремится выделить общие тенденции общественной эволюции по мере того как общества становятся более техническими и сложными. Напротив, историцизм, полный немецкого духа, настаивает на особости пути каждого коллективного действующего лица, определяемого волей и направляемого культурой и историей. В настоящее время, когда история особенно заполнена множеством конфликтующих между собой моделей развития, историцизм торжествует, а эволюционизм находится в упадке. Наши общества, которые верили, что говорят от имени универсальных ценностей, встретились с часто грубым напоминанием, что они были колонизаторскими обществами, что они были еще центрами империализма и давили своей экономической и военной силой на большую часть мира. Равным образом, культурный кризис шестидесятых годов положил конец иллюзии линейной эволюции, которая направлена к большей инструментальности, разделению ролей и холоду в общественной жизни. Опасность историцизма заключается в том, что он замыкает каждое общество в его особости, то есть заставляет исчезнуть общества перед лицом государства, социальные системы перед лицом политики, и еще проще, практику перед лицом дискурсов. Вот почему самая важная и наиболее практическая задача современной социологии заключается в определении отношений между анализом социальных систем и анализом исторических перемен, между синхроническим и диахроническим анализами. А это прежде всего предполагает, что такое разделение признано возможным. Самый простой способ такого признания заключается в утверждении, согласно которому никогда не существует исторического изменения, перехода от одного типа общества к другому, от одного поля историчности к другому, который был бы чисто эндогенным. Всякое общественное изменение в той или иной степени *экзогенно*. Это делает старомодной идею Второго Интернационала, согласно которой некий тип общества мог бы развиваться только тогда, когда предшествующий тип исчерпал все свои возможности. Даже самые влиятельные общества не трансформируются в результате простого накопления техники, богатств и обменов. Они так же, как зависимые или колонизованные общества, [107] испытывают воздействие внешних причин изменения, точнее, факторов несоциальных, которые связаны с экономической и военной конкуренцией. Война становится все более важным фактором общественного изменения. В прошлом военное завоева-

ние часто подчиняло государству локальную экономику, которая не испытывала в результате большой трансформации. В других случаях завоевание внедряло торговую или индустриальную экономику поверх аграрной. Но сегодня связи между научным и техническим поиском, большими экономическими вложениями и военными стратегиями так тесны, что невозможно говорить о внутреннем переходе от индустриальной экономики к постиндустриальной. Если в Советском Союзе создание современной техники зависит еще от области, забронированной за государством и армией, то иначе обстоит дело в Соединенных Штатах и в больших западных странах, где военный и стратегический выбор имеет гораздо большее влияние на инвестиции и общую организацию производства. Чем более общества оказываются «современными», тем более они становятся хрупкими, тем более они зависят от модификаций в *окружающей среде*. На самом деле это старая идея, сегодня актуальная более чем когда-либо, в соответствии с которой издавна объясняли прогресс приморских обществ. Можно понять, что закрытые общества насколько возможно уменьшают воздействие экономического и политического окружения. Такие общества могут глубоко изменять свою социальную организацию, как это было в Китае или еще в Камбодже, но они не стремятся к изменению своей производственной способности. Напротив, с одной стороны, военный риск, с другой, желание играть международную роль толкают сегодня Китай к развитию современных форм производства. Точно так же в Японии в XIX веке революция Мейдзи и ускоренная индустриализация страны произошли под влиянием той угрозы, какую для нее представляли американский флот и российский. Анализ общества как совокупности систем действия требует в качестве необходимой компенсации признания экзогенного характера изменения. Это должно вести к более общей идее. Главные действующие лица общественного изменения не могут быть теми же, что и те, которые находятся в центре функционирования общества. Прежде всего следует заметить, что невозможно говорить о трансформации индустриального общества, но можно говорить о его функционировании. Индустриальное общество это социальная система, тогда как меняются Англия или Япония, то есть общества политические, территориальные, исторически и географически определенные. Идентичность такого национального общества **[ :108 ]** представлена не правящим классом, а *государством*. Государство — это агент, представляющий общество в его внутрисоциальных отношениях. Одновременно оно выражает общество в качестве творца его собственной истории. Оно устанавливает отношение настоящего с прошлым и будущим, а также отношения внутреннего и внешнего. Нет государства, которое не имело бы права заключать войну и мир. Следовательно, нет государства без ответственности за жизнь и будущее общества. Но также нет государства, которое не было бы гарантом общественного порядка, то есть совокупности механизмов воспроизводства. Государство находится на *оси порядка и изменения*, а не на оси действия и кризиса. С этим легче согласиться, если четко различать государство и *политическую систему*. Здесь также нужно покончить с этноцентризмом, присущим центральным капиталистическим обществам, в которых государство, по крайней мере внутри собственных границ, часто смешивается с правительством, даже с избранными представителями народа. Политическая система — это система представительства социальных интересов. Она, следовательно, подчинена классовым отношениям, обладая при этом автономией, причиной которой служит сложность всякого национального общества, всякой общественной формации. В либеральных обществах эта автономия так велика и значение политической системы так значительно, что государство кажется почти исчезнувшим. Именно в Англии, где жил Маркс, государство наиболее ослаблено. Но не надо даже в этом случае забывать, что данное государство было вполне живым, когда речь шла о развитии и сохра-



нении империи и о конкуренции с другими индустриальными нациями. Нет ничего более поверхностного и даже ложного, как утверждать тождество государства и правящего класса. Никто никогда не забывал, что правящий класс вследствие большей или меньшей степени его господства в политической системе имел большое влияние на государство. Но самый важный и устойчивый исторический феномен заключается в *дистанции, которая отделяет государство от правящего класса*. Экономическое развитие Италии, Германии и Японии стало возможным гораздо более вследствие государственных инициатив, чем в результате деятельности национальной буржуазии. И чем более удаляются от центров капиталистической индустриализации, тем, очевидно, более сильной становится роль государства в исторических изменениях. Поэтому кажется абсурдом делать из государства слугу правящего класса, который или вообще даже не существует или который государство торопится ликвидировать. В Алжире, как и в [109] Бразилии, Мексике, как и в Сингапуре, Вьетнаме, как и в Конго, в Ираке, как и в Польше именно государство руководит индустриализацией и трансформацией общества. Тщетно стремиться свести такую государственную власть к классовой действительности, говоря, например, о государственной буржуазии. Два этих слова не принадлежат к одному и тому же словарю и их соединение только маскирует проблему, которую необходимо трактовать прямо. Конечно, государство не чуждо интересам и соотношениям сил, которые господствуют в гражданском обществе. Но эта банальная констатация никоим образом не оправдывает смешения двух рядов проблем, из которых один относится к функционированию обществ, другой — к их трансформации. Это различие становится ясным, когда противопоставляют не только государство гражданскому обществу. В более широком плане надо различать *способ производства* и *способ развития* общества. Что ведет к сомнению в повсеместно принятых идеях. Я уже говорил, что классы и классовые отношения принадлежат к области производства или, точнее, к типу историчности и в особенности инвестиции. Существуют классовые отношения, присущие индустриальному обществу, и я подчеркивал в этом отношении, что они были одинаковыми в капиталистическом и социалистическом обществах. Это вынуждает сказать, что то, что называют *капитализмом* и *социализмом*, не представляет собой ни способов производства, ни классовых отношений, а является способами индустриализации. Капитализмом является создание торговой, индустриальной или постиндустриальной экономики *национальной буржуазией*. Можно говорить о *зависимом* капитализме, когда экономическая трансформация направляется *иностранной буржуазией*, или, точнее, капиталистической системой, центр которой находится вне рассматриваемых стран. *Социалистическими* часто называли страны, развитие которых осуществлялось под руководством *национального государства* и в особенности независимо по отношению к мировой капиталистической системе. Я подчеркиваю утверждение: капитализм не является способом производства, и добавлю: капитализм не определяет классовых отношений. Он представляет собой режим, способ развития, социальную форму экономического развития и в особенности индустриализации. Собственность на средства производства — это одна вещь, социальные отношения производства — другая. Капиталистическое накопление и социалистическое, то есть государственное, имеют очень разные формы, но их классовое значение одно и то же. Именно в той мере, в какой в обоих случаях они создают [110] индустриальные общества, то есть формы производства, при которых трудящиеся подчинены так называемой рациональной организации труда, управляемой держателями капитала. Разделение этих двух областей осуждает идеологический дискурс, который соотносится с национальным обществом, определяя его в любом случае как социалистическое или капиталистическое. То обстоятельство, что рабочие на конвейере подчинены изну-

ряющим ритмам производства и сдельной оплате труда, не имеет ничего общего с капитализмом, а является одной из самых важных проблем индустриальных обществ. С другой стороны, не вправе обвинять капитализм или, наоборот, социализм в некоторых отрицательных и возмутительных явлениях, присущих высокоиндустриализованным и урбанизированным обществам. Что означает выражение «переходе к социализму», когда его употребляют в капиталистических индустриализованных обществах? Оно имеет несколько смыслов. Самый конкретный из них состоит в том, что нужно усилить влияние государства на экономику, развить ее государственный сектор за счет частного, потому что последний неспособен выдержать тех глубоких изменений и инвестиций, каких требует угрожающее самостоятельности данной экономики международное окружение или важные технологические новшества. Еще один смысл, не имеющий никакой связи с первым, заключается в необходимости усилить влияние или власть трудящихся по сравнению с ролью предпринимателей частных или государственных секторов в области труда и во всей совокупности общественной жизни. Что касается таких выражений как «переход к социализму», когда под этим имеют в виду, что социализм является следующим за капитализмом этапом истории, они просто лишены смысла. Нужно еще раз напомнить, что если многие индустриальные капиталистические общества стали в какой-то степени социалистическими, по крайней мере в той степени, в какой в них выросло вмешательство государства в экономику, то никакое капиталистическое общество не стало само собой социалистическим в том смысле, в каком говорят, что социалистическими являются Советский Союз или Китай. В такой стране как Франция политическая жизнь заставляет употреблять много совершенно лишенных смысла выражений, их остерегаются определять те, кто их употребляет. Постоянно приходится слышать, что такая-то партия не намерена вести страну к социализму и может добровольно удовлетвориться установлением передовой демократии. Но такая мера осознается, в свою очередь, как первый шаг к социализму, то есть к огосударствлению средств производства. [111] Странники таких выражений не будут удовлетворены, если им сказать об их полной приемлемости при условии уточнения, что они не предполагают никакого преобразования положения трудящихся и никакого изменения классовых отношений. Значит, проще отрицать такие лозунги, которые могли иметь смысл только в эпоху широкого признания эволюционистской концепции истории, как если бы социальные режимы следовали друг за другом в величественном караване истории.

Нельзя ограничиться сказанным и удовлетвориться разделением исследования систем и исследования развития. Каждый чувствует, что они не целиком отделены друг от друга и что если они пересекаются, то нам нужно знать, где находится точка пересечения, ибо последняя является центром социологического анализа. Это последнее выражение должно быть понято в буквальном смысле. Центральная проблема социологического анализа состоит в изучении отношений между синхронией и диахронией, между правящим классом и государством. Очень многие обществоведы издавна имели живое понимание центрального места этого вопроса в любой концепции общества. В этом случае к уже употребленным формулировкам добавляется еще одна: каково отношение между классовыми и национальными движениями? Ибо классовые движения занимают центральное место в функционировании общества, тогда как национальные движения представляют собой самые важные коллективные действия в плане исторического изменения, так как в последнем доминирует фигура государства. Этот вопрос лучше известен историкам, чем социологам, первый раз он очевидным образом проявился в австро-марксистской школе и не переставал приобретать значение по мере того, как революции или называемые социалистическими трансформации шире

проникали в регионы, где господствовали автократические национальные или иностранные колонизаторские государства.

Синхронический и диахронический анализы пересекаются не просто. Их соотношение вписано в анализ социальной системы и, точнее, в анализ классовых отношений. Ибо последние, как известно, имеют два лица: отношений производства, как они складываются между правящим классом и классом трудящихся, выдвигающих свои требования, и отношений воспроизводства, складывающихся между господствующим классом и классом подчиненным. С одной стороны, антагонистические классы борются за контроль над историчностью, и чем более их конфликт оказывается живым, тем более он [ :112 ] способствует развитию сил производства и изменения по сравнению с кризисными факторами и силами воспроизводства. Напротив, когда господствующий класс усиленно защищает свои привилегии, а народный класс — свой традиционный образ жизни, то они оба не имеют тогда необходимости соотноситься с историчностью и обращаются к государству как области их конфликта или как союзнику в борьбе против своего противника. *Именно дистанция между отношениями производства и отношениями воспроизводства определяет дистанцию между правящим классом и государством.* Повсюду, где в силу самых разных причин правящий класс оказывается на деле господствующим классом, последний должен опираться на государство, чтобы защитить благоприятный для него порядок и пресечь попытки его изменения. Со своей стороны, народные классы должны тогда атаковать государство, главного покровителя господствующего класса, который без опоры на его оружие и законы был бы не способен защищаться. Там, где государство является только искусственно поддерживаемым коррумпированным агентом колонизаторского государства, социальная борьба может даже принять характер вооруженной борьбы против него. Таков случай кубинской партизанской войны против Батисты, к такому же типу относится партизанская борьба в Сальвадоре. И если партизаны потерпели поражение в Венесуэле, Перу или даже в Боливии, то потому, что в этих странах государство было не похоже на то, которое перевернул Фидель Кастро, или на государство Сомосы. Что касается Франции, то именно потому, что индустриализация в ней чаще осуществлялась государством, чем буржуазией, и потому, что последняя была сильно озабочена защитой своих привилегий и созданием блока олигархических интересов, рабочее движение в ней оказывалось часто под влиянием коммунистической партии, борющейся против государства. Зато в Англии конца XIX — начала XX веков или в Соединенных Штатах начиная с периода создания АФТ рабочие выступления были почти полностью отделены от противогосударственных действий, но зато прочно связаны с деятельностью политических партий, стремящихся к институциональным изменениям. Чем более приближаемся к центру капиталистической экономики, тем более гражданское общество, как кажется, доминирует в отношении государства, так что последнее может представлять просто агентом правящего класса. Чем более удаляемся от центральных держав, тем более встречаем другие обстоятельства, последствия которых на общем уровне проводимого здесь анализа являются [ :113 ] одинаковыми. С одной стороны, зависимые или колонизованные страны, находящиеся под влиянием внешней экономической инициативы, ведут политическую борьбу против олигархий. С другой стороны, в странах, которые не были колонизованы, но и не участвовали в первом движении индустриализации, государство стоит на страже общественного порядка в угоду прежним господствовавшим классам, которые более не играют руководящей и новаторской экономической роли. Во всех этих случаях политическое действие преобладает по сравнению с социальной борьбой. Таким образом, именно в самом синхроническом анализе находится объяснение его отношений с анализом диахроническим, что сообщает ему решающее значение. Но,

как только что видели, именно в господстве государства, будь оно автократическим и консервативным или же завоевательным, стоящим на службе динамического капитализма, находится объяснение разделению между правящим классом и господствующим и превосходству последнего. Ничто не свидетельствует яснее о связи между этими двумя родами анализов, чем понятие *революции*. Последняя по определению объединяет народное общественное движение, или движение неправящего класса с действием, стремящимся к политическому перевороту. Два этих элемента один к другому не сводятся. Крестьяне или ремесленники поднялись во время Французской революции против земельных собственников и торговцев. В то же время буржуазия опрокинула привилегии и королевскую власть. История Французской революции составлена из меняющихся отношений между данным общественным движением и данным политическим действием. Робеспьер был в центре революции в силу того, что он хотел объединить два типа движений, представлял одновременно и террор, и максимальные требования. Но его конец был свидетельством хрупкости такого компромисса, за ним последовал триумф буржуазии. Личность Ленина еще важнее, ибо он дальше продвинул подобную двусмысленность. Если он был по преимуществу и в самом глубоком смысле человеком партии, боровшимся против государства или за создание нового государства, он был также, особенно в решающий момент написания *«Государства и революции»* и *«Апрельских тезисов»*, участником рабочего и народного движения, социальной революции. В последние годы своего правления он хотя и склонялся более к строительству государства и партии, но живо ощущал себя и толкователем общественного движения. После его смерти начнет усиливаться тенденция, которую он сам поощрял своими самыми важными действиями, и партия-[:114] государство пожрет общественное движение, с которым он делал революцию. Такое пожирающее своего отца государство называют сталинизмом, но почти во всех коммунистических режимах оказывался центральный феномен такого рода. Это отличает коммунистический тоталитаризм от фашистского тоталитаризма, последний уничтожал скорее своих социальных противников, а не силы, которые привели его к власти.

Марксистская мысль, рассматриваемая в целом, есть доктрина, которая интерпретировала идеологию рабочего движения. Когда последнее было главным общественным движением, марксистская мысль была сильной, независимой, критичной и вела жестокие бои с буржуазными идеологиями за свое признание. Затем марксизм перестал быть автономным выражением общественного движения и стал прежде всего доктриной коммунистических, в значительно более ограниченной степени социалистических партий. Но последние, по правде говоря, после Первой Мировой войны и особенно после Второй были мало озабочены доктринальными разработками. Единение марксистской мысли и коммунистических партий в мировом масштабе и даже в Западной Европе имело своим следствием почти полный упадок марксистского мышления.

Этот пример из истории идей свидетельствует о поражении всяких попыток объединить между собой анализ систем и анализ исторических изменений. Социологический анализ должен признать различие этих двух линий анализа, прежде чем присоединиться к работе историков по осознанию практических форм их объединения.

## **Метод социологии действия: социологическая интервенция**

Выбор метода зависит не только от соображений техники. Каждый метод соответствует некоему подходу, представлению о социальной действительности и,

следовательно, выбору, сделанному исследователем, акцентировать внимание на некотором типе поведения. Социолог или антрополог, интересующиеся природой и функционированием культурных и общественных норм коллектива, каковой отличается скорее своим порядком, чем изменением, должны занять позицию наблюдателя. Они стремятся уловить объективные проявления этих культурных норм, например, функционирование системы [115] родства или ритуалы. Они также регистрируют представления, верования и мифы, анализируя их извне, то есть ища принципы, управляющие совокупностью правил, и даже мысленные структуры, участвовавшие в создании этих мифов и верований. Социолог, интерес которого направлен на социальную детерминацию типов поведения, особенно на уровни и формы социального участия, должен прибегнуть к экстенсивному расследованию. Он стремится показать, как роли соответствуют положению, как формы поведения определяются занимаемой в обществе позицией или мобильностью на социальной лестнице. Речь здесь идет о самом классическом приеме современной социологии. Его обновил прогресс статистических методов. Триумф в пятидесятые годы парсоновской версии рационализма придал ему столь большое значение, что можно было в какой-то момент поверить в его конституирующую силу для всякой социологии. Но те, кто интересуются решениями, изменениями, отношениями влияния и власти, никогда не чувствуют себя удовлетворенными таким представлением об обществе и экстенсивным способом исследования. Они всегда предпочитали изучать, как были приняты решения, как изменяются организации, что привело их к развитию особых исследований, которые стремились выявить за внешней стороной явлений сложную и скрытую историю решений. Наконец, те, кто интересуется общественными движениями в широком смысле слова, до сих пор пользовались непосредственно историческим методом. Спрашивая себя о возможности изучения социальных и политических сил, способных изменить общество и создать исторические события, они отвечали вообще, что нужно рассматривать самые большие события, те, в ходе которых старый социальный порядок разрушается, а новый создается. Особенно Жорж Гурвич, пришедший к социологии в результате изучения опыта Советской революции, придерживался идеи, что нужно приближаться к вулканам истории, как если бы революции имели силу очищения и позволяли постигнуть сущность. Но если ничто не заставляет сегодня ставить под сомнение пользу этнографического наблюдения, экстенсивных расследований или изучения решений, то можно усомниться в ценности философии истории, которая находится внутри метода, связанного с обращением к великим событиям и, в особенности, к революциям. Мы сегодня больше не верим в образ раскола общества, который бы позволил проявиться творческим силам истории. Опыт нашего века научил нас осторожности. Великие события и революции не более просты, чем периоды спокойствия. Можно даже согласиться, что в революции [116]онный период социальные силы менее всего видны, наиболее скрыты за проблемами государства, где социальные механизмы полностью заменены диктатурой оружия или слова. До такой степени, что революции, которые остаются главными предметами размышлений для историков, являются, по видимому, наименее благоприятными моментами для размышлений об историческом действии. Все происходит так, как если бы в эти моменты, когда, может быть, действительно люди творят историю, они были менее всего в состоянии понять ту историю, которую они делают, и даже, напротив, принуждены делать противоположное тому, что они задумывают сделать. Таким образом, социологи, заинтересованные в изучении исторического действия, практически оказываются лишены метода. Они не могут более пользоваться историческим анализом, который бы нес в себе самом свой смысл, как думали историки и социологи XIX века от Мишле до Вебера. Первый, за которым следовали многие историки Централь-

ной Европы, увидел в современной истории рождение нации, второй — этапы разволшебствления мира, секуляризации и рационализации. Такие однолинейные эволюционистские представления сегодня кажутся недостаточными. Они не объясняют нам ни поворотов назад к варварству, ни множественности путей развития. Казалось бы в итоге, что нет более никакого метода для изучения способов производства обществом своих культурных моделей, социальных отношений и практики. Социологическая интервенция представляет метод, который стремится заполнить эту пустоту. Он стремится стать на службу изучения производства общества, как экстенсивное расследование служит изучению форм и уровней социального участия.

## Принципы

1. Главная проблема заключается здесь в том, что область самых фундаментальных социальных отношений и их культурных целей не поддается непосредственному наблюдению. Как перейти от изучения нормативного поведения к изучению форм поведения, ставящих нормы под вопрос? Уже Маркс, хотя и совсем в другом контексте, стремился обнаружить классовые отношения позади форм экономической практики. Многочисленны также те, кто искал проявления рабочего и, в особенности, классового сознания за формами поведения рабочих, продиктованных ответом на их трудовую и жизненную ситуацию. Это присутствие в повседневном опыте позиций, ставящих [117] его под вопрос, было первым открытием индустриальной социологии благодаря классическим работам Рётлисбергера в *Western Electric* (F. J. Roethlisberger, W. J. Dickson. *Management and the Workers*. Harvard University Press, 1939). Анализируя торможение работы в мастерской *Bank Wiring*, эти первые индустриальные социологи показали, что поведение рабочих далеко не может определяться в терминах адаптации или рациональности, а должно быть понято как конкретное выражение борьбы за контроль над машинами и производительностью. Анализ поведения рабочих по отношению к различным системам оплаты постоянно подкреплял выводы первых исследований. Этот пример направляет нас на совершенно иной путь, чем изучение «великих исторических событий». Он заключается в концентрации внимания на самих действующих лицах, взятых в их конкретном существовании: так можно лучше всего раскрыть механизмы, с помощью которых возможно, по ту сторону поведения социального потребления, выявить поведение конфликтного производства общества.

2. Но надо идти дальше наблюдения. Нужно создать почти экспериментальным образом такие ситуации, где тяжесть повседневного положения насколько возможно уменьшена, что позволяет действующему лицу выражать наиболее сильно свое оспаривание этого положения, свои цели и свое понимание тех конфликтов, в которые он оказывается включен в процессе достижения данных целей. Парадоксальным образом изучение исторического действия отдалается от больших полотен и экстенсивных расследований и обращается к интенсивному изучению ограниченных групп, с которыми социологи должны проводить углубленные и длительные исследования.

3. Идем дальше. Такой переход от потребления к производству общества не осуществляется спонтанно даже в благоприятных условиях, созданных исследователями. Нужно еще, чтобы последние вмешивались непосредственно. Только благодаря им действующее лицо может подняться с одного на другой уровень социальной действительности и перейти от поведения ответа и адаптации к поведению проекта и конфликта. Только если исследователь активно и лично вмешивается, чтобы увлечь действующее лицо к наиболее фундаментальным из его отношений, последнее сможет перестать рассматривать свое поведение только как ответ на установившийся порядок. [118]

## Процедуры

Вернемся к видимому парадоксу, который представляет собой изучение исторических и в особенности классовых действующих лиц и их социальных движений через маленькие группы. Здесь нет реального противоречия. Сами социальные действующие лица привыкли видеть, что небольшие группы составляют базовые объединения их движения: это политические ячейки, профсоюзные секции, маленькие религиозные общины, местные ассоциации, все это группы, несущие в себе высокое историческое значение. Но в силу сложных причин интерес к маленьким группам ассоциировался в социальных науках со сведением социальных отношений к межперсональным отношениям. Такое положение лишено всякого основания. Если придерживаться той же области социальной психологии, то можно ли забыть, что Левин размышлял прежде всего о нацизме, что Морено хотел раскрыть дух советской революции, что Серж Московичи (S. Moscovici. *Psychologie des minorités actives*. P.U.F., 1979) только что показал, насколько изучение активных меньшинств, какое может проводить социальный психолог, могло иметь широкое политическое значение? В. Дуаз (W. Doise. *L'explication en psychologie sociale*. P.U.F., 1983) в своей недавней диссертации настаивал на необходимости усилить такую социологическую направленность изучения групп. Важен здесь не размер изучаемой группы, но тот факт, что созданы *группы интервенции*, помещенные в такую искусственную ситуацию, что их члены более воспринимают себя производителями истории, историй, изменения собственного положения, чем в обычной жизни. Исходный пункт социологической интервенции заключается в создании таких групп, состоящих из действующих лиц, или, точнее, активистов, которые вовсе не прекращают своей деятельности, но оставаясь активистами, включаются также в аналитическую работу. Не должно бы быть там никакого противоречия между ролью активистов и ролью аналитиков-участников, так как анализ направлен к обнаружению самого глубокого смысла действия. Но на практике создание таких групп сталкивается с большими трудностями. Всякое действующее лицо стремится остаться хозяином своего смысла; его идеология сопротивляется анализу. Мы имеем опыт особенно сильного сопротивления не со стороны самих активистов, а со стороны «штатных» интеллектуалов, которые хотят говорить от их имени и быть производителями их идеологии. С другой стороны, создание таких групп предполагает наличие у исследователей позиции, которая [119] не может быть нейтральной. Чтобы установить необходимое отношение между действующими лицами и аналитиками, нужно также, чтобы последние воспринимались как стоящие на защите не действующего лица и его идеологии, а их возможного смысла. Каким бы не было изучаемое действующее лицо, исследователь должен искать самое высокое из возможных значений его действия, его роль как производителя истории.

Надо остерегаться того, чтобы расспрашивать группы насчет их мнений и позиций, поощрять их к выработке своей идеологии, это удаляет от искомой цели, усиливает поведение ответа группы на данную ситуацию. Следовательно, нужно избрать противоположную форму поиска: только что сформированные группы должны иметь собеседников, которые являются их дружественными или враждебными социальными партнерами в реальной жизни. Таким образом заменяют идеологическую форму выражения опытом социального отношения. Выбор собеседников должен осуществляться, насколько возможно, самими группами. Исследователи ограничиваются тем, что направляют обмен точками зрения между действующими лицами и их собеседниками. Их главная задача заключается в том, чтобы помешать беседующим сторонам избежать дискуссии или искусственно ее ограничить. Важно также, чтобы внутри группы проявилось самое большое разнообразие. Каждая группа была бы составлена таким образом, чтобы в ней были

представлены главные направления борьбы или рассматриваемого действия. В будущем встреча с собеседником должна быть заменена более весомой процедурой, ибо нужно, чтобы одновременно изучались действующие лица, включенные в социальное отношение, например, наниматели и наемные рабочие, — как мы это сделали в нашем исследовании рабочего движения, — колонизаторы и колонизованные, государственные руководители и диссиденты и т. д.

После встреч с собеседниками исследователи поощряют «закрытые» заседания, во время которых группы комментируют только что происшедшие встречи и начинают таким образом анализ своего действия.

В действительности исследователи изучали не столько поведение действующих лиц, сколько их самоанализ. Немыслимо отделять роль от сознания роли и в особенности класс — от классового сознания. Даже если классовое сознание смешано с сознанием других ролей или прикрито им и, особенно, деформировано идеологией, оно присутствует. Первой целью исследователя является, значит, развитие [ :120 ] сознания действующего лица. Группы, когда они начинают объединяться, действуют как *группы-свидетели*, ведущиеся в них дискуссии воспроизводят те дебаты, которые происходят в ходе борьбы или коллективного действия. Надо преобразовать эти группы-свидетели в *группы-лица* посредством *поворота*, состоящего в установлении дистанции по отношению к практике и в выработке общих ее интерпретаций. Такой переход может осуществиться спонтанно или по инициативе исследователя. Он ведет к тому, что можно бы назвать идеологическим анализом, так как он и остается связан с действием и стремится его понять.

Переход от этого идеологического анализа к анализу, стремящемуся идентифицировать присутствующее в действии общественное движение, можно назвать *конверсией*. Только исследователь может осуществить такой переход. Именно он должен представить группе образ общественного движения, который придает действию его самый высокий смысл. Исследователь не стремится интерпретировать природу практики, высвобождая ее «дух», он увлекает практику и ее интерпретацию к самому высокому из возможных уровней. Он никогда не становится на какой-либо другой уровень, чем уровень общественных движений. Его роль выявить, в какой форме и с какой силой поведения производства общества представлены в поведении, которые могут быть также проанализированы или восприняты на других уровнях социальной жизни. Такая конверсия принимает с необходимостью драматическую форму, так как речь идет о том, чтобы извлечь некое значение сложной практики и заставить признать, что оно дает свой смысл другим аспектам действия. Важно знать, как группа ведет себя в отношении этой гипотезы. Вызывает ли она ясные и устойчивые реакции? Делает ли она более понятными отношения членов группы между собой? Позволяет ли она им по-новому интерпретировать их прошлое действие, так же как историю группы? Наконец, позволяет ли группе эта гипотеза разработать программу действия и представить ответы, которые она может возбудить? Совокупность моментов интервенции, следующих за конверсией, должна сохранять ее господствующую роль, ибо конверсия может считаться окончательно свершившейся только в конце исследования. Но недостаточно установить верность гипотезы в группах, в которых она была представлена. Желательно еще предложить эти гипотезы другим группам. Это составляет важную часть того, что называют *перманентной социологией* и что представляет совокупность способов поиска, следующего за конверсией. [ :121 ] Формируются новые группы, чтобы применить упомянутые гипотезы к новым ситуациям и посмотреть, помогают ли они группам лучше адаптировать их действия и пробуждаемые ими реакции.



## Проблемы

Значение выводов об интервенции имеет определенные ограничения. Выбирая интенсивный, а не экстенсивный метод, принимают некоторые отрицательные моменты. Самым серьезным является запрет всякого исторического предвидения. Наоборот, главный интерес экстенсивных исследований заключается в том, что они допускают некоторые предвидения.

Социологическая интервенция в отношении какого-либо коллективного действия не позволяет оценить его шансы на некоторое историческое значение. Можно даже понять, что интервенция показывает потенциальное значение действия и позволяет, однако, думать, что это действие не будет иметь исторического значения. Первое из исследований, которое мы провели, было посвящено студенческой забастовке 1976 года во Франции, которая потерпела поражение и относительно которой мы показали, что она в действительности ознаменовала конец студенческого «гошизма». Именно показывая условия, при которых студенческая борьба могла стать общественным движением, мы заставили лучше осознать поражение этой забастовки, имевшей совсем другие цели и совсем другую идеологию, чем те, которые могли бы принадлежать общественному движению. Раскрывая природу возможного общественного движения, мы показали, что рассматриваемая забастовка от него отделилась, но ни в какой момент мы не были в состоянии доказать, что ее поражение было неизбежным.

Так же наше исследование антиядерного движения привело к выводу, что в нем присутствует антитехнократическое общественное движение. Но исследование показало и слабый вес этого значения в практике антиядерных активистов. Оно, наконец, позволило предвидеть, что это движение стремилось бы к практике, находящейся на полдороге между антиядерными настроениями и антиядерным движением, организуясь в политическое течение. Но мы не могли сказать, каковы были шансы и значение такого политического движения.

Цель социологической интервенции не предвидеть события, а анализировать механизмы, посредством которых формируются [122] коллективные действия и, на самом высоком уровне, общественные движения.

Самая трудная для решения проблема касается роли исследователей. Такая роль необходимо имеет двойственный характер, так как исследователи должны, с одной стороны, пробудить и вести самоанализ действующих групп, с другой, увлечь группу в процесс преобразования, взяв на себя инициативу представить ей некоторый образ ее самой. Исследователи должны, значит, хранить по отношению к сознанию и действию группы дистанцию, но в то же время оставаться близкими действующим лицам, их идеологии и конкретным целям. Это вынуждает разделить роли исследования между двумя лицами. Я называю *истолкователем* того из них, кто остается близким к самоанализу группы, кто «толкает» ее вперед и стремится избежать всякого разрыва между ее реальным опытом борьбы и ее деятельностью в рамках интервенции. Я называю *аналитиком* того, кто более постоянно придерживается точки зрения анализа и стремится создавать гипотезы исходя из поведения группы во время первой фазы интервенции. Это различие двух функций оказывается более резким, чем дальше действие находится от общественного движения, которое оно может заключать в себе. Если бы такое удаление было тотальным, то не могло бы быть никакой связи между двумя исследователями, и этот кризис исследования явился бы хорошим показателем отсутствия в рассматриваемой борьбе общественного движения. Наоборот, если действие обнаруживает глубокие признаки общественного движения, оба исследователя могут трудиться бок о бок, и истолкователь может принять прямое и значительное участие в конверсии. В любом случае главная опасность, которая угрожает исследователям, состоит не в сохранении слишком большой дистанции по отношению

к группе, а наоборот, в слишком большом отождествлении с ней. Это может быть объяснено как идеологическими причинами, так и другими, более конкретными. Успех исследования зависит от группы, поэтому исследователь имеет потребность быть принятым группой и думает достичь этого, уменьшая разделяющую их дистанцию, показывая свою лояльность по отношению к группе и ее борьбе, стремясь даже иногда стать ее лидером. Такое сильное отождествление исследователя с группой может создать иллюзию, что группа способна далеко продвинуть свой самоанализ. Но скоро обнаруживается, что в таких условиях становится невозможна конверсия, так как уничтожена всякая дистанция между исследователем и группой. Между тем, конверсия предполагает, [ :123] чтобы дистанция была столь большой, насколько это возможно, и чтобы исследователь прилагал значительное усилие к «подтягиванию» группы к самому высокому значению ее действия, значению, носителем коего он выступает.

Понятно, что изложенное вызывает возражение, которое постоянно выдвигают против социологической интервенции: дескать последняя не может иметь доказательной силы, так как сами ее процедуры могут обеспечивать успех, который вследствие этого оказывается искусственным. Интервенция сводилась бы в итоге к акту внушения тем более успешному, что исследователь предлагает группе очень лестный образ ее практики и сам становится в положение лидера группы. В любой борьбе исследователь тогда мог бы обнаружить общественное движение. На это нужно прежде всего ответить, что успех конверсии не зависит от согласия группы на предложенную в данный момент исследователем гипотезу. Последнюю узаконивает способность группы ее переинтерпретировать и оценивать свой прошлый, настоящий и будущий опыт в зависимости от предложенной гипотезы. Нужно также напомнить, что механизм исследования предполагает интервенцию нескольких ученых в нескольких группах и на нескольких этапах, часто отделенных друг от друга не одним месяцем. Но к этим общим аргументам нужно добавить конкретный опыт, значение которого еще более значительно. В ходе исследования провансальского движения во Франции я разработал и предложил гипотезу, которая была отвергнута двумя группами. Тогда мы сформулировали другую гипотезу, которую другой исследователь, Франсуа Дюбе, предложил группам и которая также была отвергнута. Большая часть последующих фаз исследования была посвящена анализу и истолкованию этого двойного поражения. Доказано, следовательно, опытом, что гипотеза может быть отброшена группами даже тогда, когда отношения между ними и исследователями прекрасные и никакое психосоциологическое объяснение не годится. Нужно добавить, что подобное поражение вовсе не означает порока метода. Напротив, оно доказывает, что группы могут работать со своей «конверсией», то есть вставать на точку зрения возможного общественного движения, но в то же время осознавать, что это движение не может быть воплощено в их действии и что, следовательно, последнее не может достичь таких высоких целей. Конверсия не состоит в признании существования самых высоких конфликтов во всех требованиях, а в том, чтобы поставить последние в соотношение с высоким уровнем социального действия. [ :124]

Иногда нам возражают, что мы не отдаем себе отчета в возникающих в группах собственно социопсихологических феноменах. Действительно, изучая группы, можно интересоваться различными феноменами. Те, кто использует психоаналитические методы, особенно интересуются природой социальной связи или стремятся еще побороть в группах формы авторитета военного или религиозного происхождения. Другие интересуются способом, каким группа может вести себя в некоей ситуации, адаптироваться к изменению и принимать решения. Со своей стороны, мы вовсе не противопоставляем внутреннее функционирование группы проблемам борьбы, в которой участвуют ее члены, ибо большая часть событий,

происходящих в группе, и отношения, которые устанавливаются между ее членами, должны быть объяснены исходя из наших гипотез, которые являются чисто социологическими. Часто именно в изменении одного из членов группы, например, в утрате им leadership (лидерства — М. Г.), или в отталкивании группой одного из ее членов находим наиболее прямые признаки природы отношений между социальной практикой и смыслом ее существования.

### Область

Существенный вопрос заключается в том, чтобы знать, является ли то, что обычно называют общественными движениями, и прежде всего таковые движения в передовых индустриальных странах единственной областью применения социологической интервенции. Большая часть работы сторонников этого метода должна будет состоять в рассмотрении того, в каких условиях и формах он может применяться к другим социальным областям и ситуациям. Здесь можно только поверхностно указать на возможные области применения интервенции.

Необходимо прежде всего, чтобы она не ограничивалась изучением оппозиционных или народных движений. Важно показать, что таким же образом можно изучать поведение в среде руководителей. Одной из наших главных целей должна быть организация социологической интервенции на уровне правящего класса, особенно руководителей больших организаций, будь они индустриальными или неиндустриальными, частными или государственными. Естественно, было бы желательно, чтобы такие интервенции могли проводиться в нескольких индустриальных странах, имеющих различные культурные традиции, например, в Европе, Северной Америке и Японии. [125]

Если говорить в общем плане, важно, чтобы уже осуществленные в область социальной борьбы интервенции были дополнены аналогичными исследованиями в других странах, особенно в зависимых или ранее колонизованных, в которых крестьянские или городские движения играют большую роль.

Но необходимо еще более удалиться от области собственно общественных движений и спуститься с этого высокого уровня на уровень политического или организационного поведения, затем на уровни поведения порядка, кризиса или изменения, которые соответствуют другим «осям» социологического анализа и могут содержать в себе в деформированной форме типы поведения, связанные с историчностью и общественными движениями.

Например, в странах, в которых индустриализацию направляли авторитарные государства, социальные отношения прикрыты отношениями порядка и государственным господством. Наконец, нужно даже стремиться как можно более удалиться от общественных движений. Поведения индивидуального отклонения и даже безумия, может быть, могут быть проанализированы, частично по крайней мере, как формы индивидуализированного выражения невозможного общественного движения, утраты исторического действия. Метод социологической интервенции должен быть адаптирован к такому чрезвычайному распаду смысла действия и форм его социального проявления.

Все, что только что было сказано, покоится на определенной вере в возможность появления общественных движений. Однако, следует также отметить значение того, что можно назвать *общественным антидвижением*, то есть того, что призвано защищать общность и ее консенсус против внешнего врага. То, что в некоторых обстоятельствах может раскрыться как общественное движение, в других обстоятельствах может закрыться в форме антидвижения. Рабочее движение иногда закрывается в авторитарную группу, отбрасывающую меньшинства. На мировом уровне сегодня приобретают растущее значение движения коммунитарной

защиты, противостоящие грубой, авторитарной и направляемой извне индустриализации.

Можно ли из этих кратких замечаний сделать вывод, что мало-помалу метод социологической интервенции сможет охватить все области социологии? И да, и нет. Невозможно, в самом деле, априори решить, что такой-то тип социального поведения не имеет никакого [126] отношения к области историчности и приводящих ее в действие общественных движений. Но думать, что можно свести все формы социального поведения к поведению самого высокого уровня, значило бы совершить противоположную ошибку. Это причина, в силу которой нужно, напротив, противопоставлять два уровня поведения: поведения действия и порядка. Нет современного общества без порядка, без государства, без войны. Эта огромная область высится перед лицом социального мира, мира социальных отношений и их культурных целей. Мы спрашиваем себя с тоской, не будет ли открытое пространство гражданского общества, которое мы мало-помалу увеличивали на Западе в течение прошлых веков, снова завоевано государственными джунглями. Одна из главных задач социологии состоит в защите пядь за пядью этой поляны и культур, развитых на ней человеческими коллективами. Метод социологической интервенции работает на такую защиту, он имеет, на самом деле, научные намерения, но стремится также поднять уровень действия таким образом, чтобы реальное действие максимально приблизилось к возможному действию. Он направлен на то, чтобы помочь людям делать свою историю в тот момент, когда на руинах разрушенных или преданных иллюзий вера в способность обществ созидать самих себя ослабела. Не было бы противоречием утверждать, что социологическая интервенция имеет эвристическую ценность, и одновременно признавать, что она свидетельствует о желании выработать сознание возможного действия и способствует таким образом защите и укреплению шансов демократии. [127]

## *Третья часть*

# ВОПРОШАТЬ НАСТОЯЩЕЕ

### **Рождение программированного общества**

Мы удаляемся от берегов индустриального общества, но куда мы идем? Уходим ли мы в сторону, плывем ли к острову Ситеры или причаливаем к гипериндустриальному обществу? Живем ли мы в условиях декаданса или после нескольких веков роста возвращаемся к обществам, озабоченным прежде всего проблемой своего равновесия, какими были не так давно наши сельские общества? Или мы входим в общество, наделенное по сравнению с индустриальным более высокой способностью воздействовать на самого себя, общество, которое могло бы быть предварительно названо постиндустриальным?

Риск декаданса вне всякого сомнения существует. Наши общества, привыкшие к изобилию, озабочены гарантиями и наслаждением и могут оказаться вовлеченными в попятное движение к будущему. Однако эти образы более соблазнительны, чем убедительны, и плохо учитывают современные проблемы. Остается на самом деле большой вопрос: переживаем ли мы новый рост или поворот к равновесию, входим в постиндустриальное общество или переходим к обществу постисторическому, наблюдаем конец этапа развития или самого развития? Мы только что пережили сильное движение контркультуры, которое поставило непосредственно под вопрос ценности индустриализации и роста, которое стремилось к равновесию и идентичности во всех их формах. Но это могла быть лишь краткая фаза перехода между отказом от ценностей индустриального общества и [:128] осознанием глубокого изменения экономического порядка. Истощение индустриального общества в странах, где оно было наиболее развито, свидетельствует скорее о трудном, но необходимом переходе к новому типу общества, более активного, мобильного и грозящего еще большими опасностями, чем то, из которого мы выходим.

### **Уровень историчности**

Уже данное в этой книге определение индустриального общества, согласно которому в нем преобладают инвестиции, служащие целям изменения организации труда, делает необходимым понять постиндустриальное общество как такое, в которое проникает историчность, то есть прежде всего инвестиции осуществляются на уровне целей производства, что было недостижимо для индустриального общества. Организация труда касалась только уровня производства и отношений трудящихся между собой. Свойственная этому уровню интервенция поднимается затем на уровень управления, то есть всей совокупности производства. Сначала это делается благодаря новшествам, благодаря способности изобретать новые продукты в силу научных и технических инвестиций. Затем посредством собственно управления, то есть способности заставить функционировать сложные системы организации и решения. Переход к постиндустриальному обществу осуществляется, когда инвестиции производят в большей степени не материальные блага и даже не «услуги», а блага символические, способные изменить ценности, потребности, представления. Индустриальное общество изменяло средства производства, постиндустриальное изменяет цели производства, то есть культуру.

Понятно, уровни историчности не следуют так просто друг за другом. Страна, достигшая некоторого уровня историчности, продолжает приводить в действие менее развитые уровни, характерные для предыдущих обществ. Индустриальная страна не отказывается от выгод, которые дает торговля, постиндустриальное общество не отрицает организации труда. Но свойство определенного общества состоит в признании большей важности некоего типа инвестиций и в покровительстве ему, когда он входит в конфликт с другим типом, характерным для предшествующих обществ. Таким образом, постиндустриальное общество не может — как и индустриальное — быть охарактеризовано ссылкой на определенную технологию. Так же поверхностно было бы говорить об обществе вычислительной машины или об обществе плутония, как об обществе паровой машины или [129] электрического двигателя. Ничто не оправдывает в этом плане ссылки на определенную технологию, каким бы не было ее экономическое значение. Решающим для постиндустриального общества является то, что вся совокупность экономической системы составляет объект интервенции общества в отношении самого себя.

Вот почему его можно назвать *программированным* обществом. Это слово подчеркивает его способность создавать модели управления и производства, организации, распределения и потребления. В результате подобное общество на всех уровнях своего функционирования представляется не продуктом естественных законов или культурной специфичности, а результатом воздействия общества на самого себя, итогом систем социального действия.

### **Живой опыт программированного общества**

Теперь изменим перспективу, чтобы стать на точку зрения тех, кто живет в этом обществе, кто осуществляет его опыт и кто ведет себя, особенно на промышленном уровне, скорее как его потребитель, а не производитель. Именно здесь уместны количественные анализы. Таким же образом в ходе индустриализации, то есть того, что Карл Поланьи (Carl Polanyi. *The Great Transformation*. New York, 1944. Французский перевод — Gallimard, 1983) назвал *большой трансформацией*, для социологов было более приемлемо рассматривать распад форм предшествующей социальной жизни и развитие рынка, чем организацию труда. Увеличение обменов внутри социального целого казалось тогда во многом самым важным изменением. Это было именно то, что почти одновременно Карл Дойч в Соединенных Штатах (Carl Deutsch. *Nationalism and Social Communication*. Cambridge, M.I.T. Press. 1962) и Джино Джермани в Аргентине (Gino Germani. *Politica y sociedad en una época de transición*. Французский перевод — Politique, Société et Modernisation. Duculot, 1972) назвали уровнем «мобилизации» общества. Программированное общество переживается как общество с более высокой степенью мобилизации, чем индустриальное. В этом последнем индивиды были вовлечены в управляемые системы коллективной организации на уровне труда. Особенность постиндустриального общества состоит в том, что в нем большие централизованные аппараты управления возникают в самых разных областях социальной жизни. В этом плане можно было бы говорить об индустриализации информации, потребления, здоровья, научных исследований и даже общего обучения. Термин неточен, но [130] он хорошо подчеркивает, на самом деле, факт формирования центров решения и управления, способных производить не только системы средств, но сами цели общественной деятельности, создавать технологии здоровья, потребления или информации. Такая мобилизация дает шансы индивидам, но рискует также увеличить способность манипуляции со стороны абсолютной власти.

Такое чрезвычайное ускорение и умножение запрограммированных коммуникаций приводит прежде всего к очень позитивным результатам, которые не должна скрывать сила контркультурного протеста недавних лет. Прежде всего, боль-

шая часть членов такого типа обществ привлечены умножением информации и, следовательно, предложенным выбором. Было бы произвольно сопоставлять в этой области концентрацию власти для приема решения и униформатизации программ и посланий. Если униформатизация существует, она обязана не природе программированного общества, а совсем иному: природе систем политического и идеологического контроля, присущих некоторым странам. Нужно остерегаться подвергать слишком легкой и попросту элитистской критике средства массовой информации. Те, кто в прошлом располагал большой свободой материального или интеллектуального потребления, получают теперь еще большую свободу выбора, об этом свидетельствует их настойчивое желание узнать удаленные от них во времени и пространстве общества и культуры. А те, кто был замкнут в локальной сфере и жил под влиянием традиционных авторитетов, ограничиваясь популярной литературой, сегодня получил доступ к гораздо более обширному перечню информации. В программированном обществе лица, блага и идеи циркулируют гораздо более интенсивно, чем в предшествующих обществах.

Более того, нужно признать, что такое общество с очень сильной историчностью, с очень сильной способностью самопроизводства значительно уменьшает долю существующих в нем движений воспроизводства. Оно оценивает все более негативно то, что кажется направленным на воспроизводство, так что на деле все меньшее число типов и форм поведения воспроизводится. Это часто сказывается в том, что называли освободительными движениями, будь они либеральными, либертарными или революционными, главный смысл которых состоит в разрушении привычных ситуаций и переданных ролей, так что все категории населения оказываются участниками все более интенсивных обменов и коммуникаций. В частности, общий кризис «переданных статусов» (ascribed) проявился особенно в [131] формировании движения женщин. Упомянутый кризис так же силен и двусмыслен, как и тот, который создали творцы индустриального капиталистического общества, когда они боролись против рабства и всего того, что противостояло рыночной свободе. Подобное действие, действительно, разрушает барьеры, предрассудки и запреты, но не нужно соблазняться его часто революционным или либертарным языком. Уже можно наблюдать, что разрушение прежнего разделения между частной и общественной жизнью и более равное участие женщин в совокупности экономической и профессиональной деятельности хорошо объясняются интересами общества потребления, которое нуждается в повышении дохода от домашнего хозяйства и в расширении масштабов товарного потребления.

Подобная двусмысленность происходит от того, что культурные новации прежде всего развиваются в тесном союзе с созданием новых правящих групп. Напротив, подчиненные социальные категории находятся в культурной обороне, дорожат собственной специфичностью, защищаясь от идущего извне господства. Культурный прогрессизм может быть часто соединен с социальным консерватизмом. Это объясняет, почему женские группы, стремящиеся противостоять такому консерватизму, вынуждены в целях развития своего культурного творчества впечатляюще или резко противостоять среде руководителей и навязанным ими моделям поведения. Тем не менее остается верным, что упомянутые формы поведения соответствуют модернизаторской позиции, началу общества и составляют, таким образом, новое превращение философии Просвещения. И наоборот, в этих условиях среди социальных слоев, наиболее удаленных от руководителей, так же как среди многих представителей интеллектуальной жизни и особенно у индивидов, уровень образования которых выше экономического, распространяется страх, что индивиды и группы окажутся замкнуты во все более плотных сетях знаков, правил и запретов. Говорят о «плотности сети» и о «скрученном обществе», о нормативных давлениях. В доиндустриальных и в культурном плане традиционных об-

ществах некоторые правила утверждались и вдалбливались очень авторитарно, но их общая сеть была слабой и участки неопределенности в поведении многочисленны. В большом современном городе буквально невозможно сделать шаг, не получая приказов, не попадая под действие рекламы или пропаганды, не сталкиваясь с общественными лестницами, на которых можно было бы отыскать свой собственный уровень. Вот почему все более усиливается поиск отношений не социальных, межперсональных или [132] желание создать объединения, задуманные как защитные убежища в уплотняющейся социальной сети. Если маргинальность долго рассматривалась как неуспех интеграции, то теперь она становится знаком оппозиции, лабораторией, где формируются новая культура и контрпроект общества.

### Техническое общество?

На другом, более глобальном уровне критики появляется идея, что в программированном обществе увеличивается дистанция между управляющими и управляемыми. Правда, периодически вновь слышится идея о децентрализующей роли новой техники. Она появилась уже в конце XIX века, когда многие публицисты отстаивали мысль, что электричество благоприятствует децентрализации, тогда как уголь обязывает к централизации. В действительности идея о том, что технология управляет обществом, еще раз оказалась ложной. Природа электричества не определяет социального способа ее использования, и также обстоит дело с информационной техникой. Зато достоверно, что создание аппаратов производства и управления информацией в большинстве областей ведет к новой концентрации власти. Последняя издавна была в ходу в мире промышленности, сейчас она там еще более развилась, но особенно значительно концентрация власти для приема решения усилилась в секторах, где она была незначительной. Часто рассматриваемым примером этого могут служить научные исследования и переход от «*little science*» к «*big science*» (от «малой науки» к «большой науке» — М. Г.), особенно после чудовищной гонки вооружений между двумя супердержавами. Можно даже думать, что программированное общество допускает и пробуждает более высокую взаимозависимость между аппаратами господства. Не благоприятствуют ли всемогуществу центральной власти такие явления, как лишение человека корней, модернизация, ускорение изменений? Не способна ли такая власть навязать свою волю обществу, атомизированному вследствие разрушения сообществ и традиций?

Отвлечемся от этих позитивных или негативных позиций и вернемся к важному, уже упомянутому вопросу о природе отношений между технологией и обществом. Вошли ли мы в техническое общество? Нужно ли ожидать от технического прогресса социального прогресса вследствие повышения уровня жизни и умножения предлагаемого выбора? Или нужно, напротив, признать, что [133] определенная техника стала прямой угрозой? Такие вопросы, действительно, новы, и определение, которое было дано программированному обществу, не позволяет удовлетвориться ответами в духе XIX века, такими, например, что техника и наука сами по себе дают позитивные результаты и что только способ социального употребления может придать им негативный смысл. Тогда было бы достаточно заменить одно управление другим, олигархию демократией, чтобы преобразовать силы смерти в силы жизни, источники власти в фонтаны благосостояния. Такое различие между производительными силами и производственными общественными отношениями сегодня выглядит достаточно искусственным. Оно годилось только для индустриального общества, где социальная власть не вмешивалась еще в условия самого производства, а только в условия организации труда. Теперь предстоит более радикальный выбор и особенность правящих сил заключается в



возможности их отождествления с управлением системами информации. Между тем, это простое наблюдение не ведет никоим образом к выводу, что наше общество непосредственно детерминировано используемой им техникой.

Напротив, наступил момент, когда нужно перевернуть традиционный характер рассуждений. Когда антиядерные активисты говорят, что ядерная индустрия порождает централизованное и авторитарное общество или, что цивилизация плутония должна непременно иметь полицейский характер, тогда как общество солнечной энергии могло бы быть демократическим и децентрализованным, они рассуждают шиворот-навыворот. В действительности, большие аппараты решения обладают силой определять тип энергетической политики. Так, во Франции сила E.D.F. (Французской атомной электростанции) и С.Е.А. (Комиссариата по ядерной энергии) объясняет то обстоятельство, что в 1973–1974 годах без всякого реального политического обсуждения была принята программа широкого развития ядерной энергетики, последовав очень логично за политикой всеобщей электрификации, которую навязала несколько лет ранее E.D.F., преследуя этим коммерческие цели. Технологический выбор оказался прежде всего политическим, и его результаты выражают соотношение общественных сил. Идея не целиком новая: тридцать лет тому назад индустриальная психосоциология настаивала на том факте, что результаты технических изменений зависели не столько от необходимых следствий этих изменений, которые вообще трудно выделить, сколько от социального способа проведения таких изменений. Исследование [134] изменений, происшедших в административной работе в связи с появлением новых методов обработки данных, показывает затруднительность идентификации специфических последствий этих технологических новшеств. Чрезвычайное различие мнений и наблюдаемых ситуаций свидетельствует о невозможности выделить первую причину технологического происхождения, которая могла бы определить в целом программированное общество. Главный довод в этом отношении заключается в том, что социальная власть, вмешиваясь непосредственно в сферу производства, определяет и направляет употребление технологии. Ведь не телевизионный передатчик определяет содержание телевизионных программ. С большей степенью достоверности можно было бы говорить о технологическом детерминизме не в отношении программированного и даже не в отношении индустриального обществ, а напротив, применительно к наиболее удаленным от них обществам, поскольку они меньше могли воздействовать на свою технологию, на производство, чем, как говорится, на потребление или распределение. В отношении традиционной Бразилии можно согласиться говорить об одной цивилизации дерева, другой цивилизации кофе или еще другой — какао. В индустриальном обществе, наоборот, исчезает профессиональная автономия, особая культура ремесла или продукта. Профессиональная деятельность все более непосредственно определяется в терминах ролей, занимаемых в системе коммуникаций; психологи уже начали измерять квалификацию в этих новых терминах. Нужно еще добавить, что сама сеть коммуникаций не определяется техникой, а все более широко зависит от состояния профессиональных отношений внутри организации.

Эта растущая сложность программированного общества приводит к тому, что степень интеграции в нем может только уменьшаться. Она соответствует гораздо менее простой, менее механической, менее стабильной модели организации, чем та, которая присуща доиндустриальным обществам. Это чувствует каждый из нас: наш различный опыт участия в таком обществе свидетельствует, что он соотносится не с неким центром, а со множеством отдельных центров решения, образующих скорее мозаику, чем пирамиду.

Изобилие информации и средств коммуникации для ее передачи часто толкают на то, чтобы определить наше общество как общество коммуникации. Но не-

справедливо было бы, напротив, сказать, что если оно заслуживает такого определения, то только потому, что коммуникация в нем стала проблемой? Общества, в которых не было средств массового производства и передачи информации, [135] характеризовались сходством передаваемых сообщений и социальных ролей. В крайнем случае коммуникация заменялась регулируемым социально и даже ритуально обменом между действующими лицами, сообщения которых были напрямую связаны с их особыми функциями. В нашем обществе произошло глубокое разложение так понятой коммуникации и обмена. Информация все менее определяется как обмен и все более как эмиссия — можно было бы сказать: реклама или пропаганда, если бы эти слова не имели слишком пренебрежительного смысла. Информация все более оказывается связанной с решением, то есть с властью, со способностью программировать, а это связано с возрастающими мощью и ценой средств коммуникации. С другой стороны, понимание оказывается затруднено вследствие разделения информации и социальных ролей, и оно, соответственно, может установиться между лицами, взятыми независимо от их социальных ролей. Отсюда — большое значение, придаваемое в поиске прямого контакта невербальной коммуникации, например, на уровне жестов. Ища прямого контакта, люди используют в автомобилях или в других местах коротковолновые приемники с передатчиками, чтобы входить в коммуникацию с незнакомыми. Не был ли каждый из нас загипнотизирован поиском положения, которое не может быть обозначено как лицо к лицу, а как «голос к голосу»? В результате наблюдаем, как в больших городах создаются добровольные службы для слушания, предназначенные для того, чтобы приходить на помощь самоубийцам или тем, кто переживает серьезный психологический кризис. Конечно, радио и телевидение умножили беседы, телефонные звонки, игры. Но хорошо видно, что этого недостаточно, чтобы заполнить огромную дистанцию, существующую между централизованной эмиссией информации и спросом на межперсональную коммуникацию. Такое положение составляет одно из самых важных следствий разложения общества-организма, и этот кризис объясняет растущую чувствительность наших современников к проблемам коммуникации.

### **О новых классовых отношениях**

Все «сообщество» не может взять на себя осуществление историчности, особенно ее самой материальной части — инвестиции. Действительно, для того чтобы существовала некая система, нужно, чтобы в ней действовали механизмы порядка, социализации, воспроизводства, социального контроля и репрессии. Именно потому, [136] что необходимы инструменты установления и поддержания социального порядка, историчность осуществляется только частью общества, способной освободиться от принудительных норм порядка или, чаще, использовать их для своей выгоды. Правящий класс — это особая социальная группа, берущая на себя груз историчности, особое действующее лицо, которое оказывает самое общее воздействие на функционирование и трансформацию общества. Этот правящий класс, отождествляя себя с историчностью, в то же время отождествляет ее со своими особыми интересами. Он является «прогрессистским» в той мере, в какой он приводит в движение самый высокий уровень воздействия общества на самого себя и ведет борьбу против прежних господствовавших слоев и старых инструментов социального контроля, но, с другой стороны, он возводит преграды в целях защиты своих привилегий.

Однако возникает вопрос, какова природа классовых отношений в программном обществе? Соблазнительно прежде всего сказать, что центральный социальный конфликт состоит в противостоянии директоров и служащих, тех, кто задумывает, формулирует и управляет программами производства, и тех, кто их

применяет и испытывает. Может быть, мы присутствуем при процессе пролетаризации низших, затем средних чиновников, даже «профессионалов», как некогда присутствовали при пролетаризации рабочих? В действительности такое противостояние между теми, кто задумывает, и теми, кто исполняет, может определить лишь уровни стратификации и, следовательно, властных соотношений. Но когда говорят о классовых отношениях, имеют в виду нечто большее: правящим классом является тот, который управляет созданием культурных моделей и социальных норм; а управляемым — тот, который участвует в историчности подчиненным образом, соглашаясь на роль, предписанную ему правящим классом, или, напротив, стремясь разрушить присвоение историчности со стороны правящего класса.

Если свойство правящего класса в программированном обществе заключается в способности создавать модели социального потребления, то свойство управляемого класса состоит не в том, чтобы исполнять и приводить в действие эти модели, а в том, чтобы приспосабливаться к ним. Для того чтобы подчеркнуть дистанцию между программированным обществом и индустриальным нужно сказать, что главный социальный конфликт противопоставляет большие аппараты управления и производства потребителям, даже если это слово может оказаться опасным. Вот почему первые [137] проявления новых социальных конфликтов заставили впечатляющим образом вмешаться потребителей или, по крайней мере, адресовались к ним. Те, кто выступал от имени воспитания против школы и университета, от имени общественного блага против научно-политического аппарата, от имени здоровья против больницы, от имени межличностных отношений против схем урбанизации и от имени экологии против ядерной промышленности, всегда противопоставляли по сути потребление влиянию больших аппаратов на определение спроса. Эту власть аппарата уместно называть *технократией*. Подобно тому как в индустриальном обществе правящим классом являются *организаторы*, независимо от того, заняты ли они в частной или общественной сфере, так же нужно избегать смешения технократии с центральной администрацией государства. Существует технократия частная, как и общественная, капиталистическая, как и коллективистская. Перед лицом технократии потребитель говорит от имени своих потребностей. В индустриальных обществах потребность традиционно мыслилась как простое отражение экономического роста. Знаменитые законы Энгеля предполагали, что повышение доходов увеличивает долю избирательного потребления и снижает потребление продуктов питания. Но в настоящее время происходит резкий отказ от этой количественной теории потребностей, отказ, призывающий обратиться к глубоким, основным, природным потребностям. Такие понятия не имеют ясного социологического смысла, но они указывают на волю противопоставить технократическому моделированию спроса другой образ жизни, другие предпочтения.

Особенность социального конфликта в программированном обществе заключается в том, что правящий класс в нем контролирует, кажется, всю совокупность областей социальной жизни, что мешает подчиненным классам говорить и действовать с опорой на социальную и культурную автономию. Таким образом, они вынуждены противостоять социальному господству от имени того, что единственно еще от него ускользает, то есть от имени природы. Отсюда важность экологического направления, апеллирующего к жизни против продуктивизма, загрязнения, против угрозы ядерного заражения. Отсюда также важность движений протеста, которые опираются не на социальный, а на биологический статус: женственность, молодость, но также старость, принадлежность к этнической группе и даже в какой то мере принадлежность к локальной или региональной культуре, в той степени, в какой, например, язык не может интерпретироваться как простой

продукт общества, ибо один [138] и тот же язык может быть использован, на самом деле, коллективом на разных уровнях его экономической и общественной организации. Такие оборонительные действия могут стать подлинно утопическими и замкнуться в отказе от современного общества, если они не объединяются с действиями контрнаступательными, то есть в единстве с волей употребить современные технику и науку на пользу контрмодели социальной и политической организации. Подобная контрмодель не могла бы ограничиться только уровнем организации труда, как это было в индустриальном обществе. И так как идея управления заменила собой идею организации, естественно, что тема самоуправления заменяет тему социализма, то есть рабочего контроля организации труда. Но названные оборонительное и контрнаступательное действия должны объединиться между собой в некоем центральном пункте. В торговых обществах такой центральный пункт протеста назывался *свободой*, так как речь шла одновременно о том, чтобы защититься против правовой и политической власти торговцев и противопоставить ей порядок, также определенный в терминах права. В индустриальную эпоху такой центральный пункт назывался *справедливостью*, так как речь шла о том, чтобы передать в руки трудящихся плоды их труда и индустриализации. В программированном обществе центральным пунктом протеста и требований является *счастье*, то есть образ такой организации общественной жизни в целом, который определен в зависимости от потребностей, выраженных самыми разными индивидами и группами. В результате ясно, что область социальной борьбы не определяется в программированном обществе так же отчетливо, как в предшествующих обществах. В аграрных обществах такой областью всегда была земля, в торговых обществах активность принадлежала гражданину, жителю, в индустриальном обществе — трудящемуся.

В программированном обществе активность принадлежит социальному действующему лицу в любой из его ролей, можно почти сказать, что это — человек как живое существо. Вот почему требование выдвигается от имени целого, идет ли речь об индивиде, взятом в его телесности и его проектах, или о сообществе. Но исключительная масштабность и сила социальных конфликтов в программированном обществе оборачивается также их слабостью, ибо повсеместное распространение конфликтов лишает их также центрального конкретного пункта. Огонь может вспыхнуть повсюду, но общество кажется менее задетым, чем до большого пожара. Может быть, поэтому становление конфликтов и общественных движений в таком обществе [139] очень зависит от вмешательства политических партий или от кризиса государства.

### **Общества без государства или государства без общества**

Нельзя не задать вопроса, не является ли такое описание программированного общества слишком осторожным? Двадцать лет назад, когда индустриальное общество, как представлялось, торжествовало, казалось неосторожным предполагать, что оно скоро может быть заменено обществом другого типа. Сегодня понятие постиндустриального общества очень часто не употребляют, так как оно кажется связанным с оптимизмом этого периода и, следовательно, сводится к образу сверхиндустриального общества, что не соответствует прочно идее общественного изменения. Современный кризис индустриальных ценностей ведет к противоположному упреку в адрес идеи программированного общества: ее упрекают в запоздании относительно очевидных перемен. Но здесь критики разделяются, ибо они противопоставляют вышесприведенным описаниям два разных рода рассуждений.

Для одних, как уже говорилось, приходит конец не определенному этапу роста, а самому росту и идее развития. Чрезвычайная способность обществ воздей-

становить на самих себя делает для них невозможным продолжать «разрушительное творчество», каковое отличало, по Шумпетеру, индустриальное общество. В течение долгого времени мы имели ограниченную способность действия в среде, которая казалась бесконечной. Сегодня мы оказались в противоположной ситуации, наша способность действовать кажется превосходящей те ресурсы, которые она может мобилизовать. Не становится ли тогда необходимостью, чтобы стремление к прогрессу было заменено заботой о выживании и равновесии? Не пора ли уже давно признать, что человек находится не перед лицом природы, а в ней самой? Наиболее крайней формой ответа на подобные сомнения явился призыв вернуться к меновому обществу, к обществу без историчности. Некоторые антропологи вроде Маршала Салинса (Marshall Sahlins. *Âge de pierre, âge d'abondance. L'économie des sociétés primitives*. Французский перевод — Gallimard, 1980) говорили даже о возврате к изобилию, доказывая, что наши индустриальные общества основываются на нехватке, тогда как общества, существовавшие на великих равнинах Северной Америки, умели поддерживать свое равновесие, потребляя или уничтожая путем обрядовых церемоний [:140] имеющийся у них избыток. Другие, вроде Пьера Кластра (Pierre Clastres. *La société contre l'Etat*. Minuit, 1974), хотели возврата к обществам без государства. В течение десятилетия были слышны пожелания остановки роста, придания вновь живому опыту, прямому обмену, телесности, локальному коллективу того значения, которое они утратили. В то же время, главное требование, которое прежде выражалось в терминах социальных отношений, собственности и власти, казалось, снова сконцентрировалось на самом действующем лице, на его идентичности и его отличиях. Эти два понятия заняли центральное место во всех движениях контркультуры, в движении женщин, в этнических и национальных группах. Такая позиция вызывает по меньшей мере два типа критических замечаний. Прежде всего, призыв к такого рода общности мог бы привести к очень сильному принуждению, так как для того, чтобы общество ликвидировало свою историчность, вернулось в состояние воспроизводства, нужен сильный социальный контроль. Оказалась бы нужна гораздо более суровая Спарта, чем существовавшая на самом деле, чтобы помешать инвестициям, прогрессу знания, и довести производство до координации, которая могла бы очень быстро превратиться в принудительную необходимость.

Во-вторых, идея о границах роста была связана только с очень коротким периодом нашей истории, когда казалось, что преодоление индустриального общества будет сочетаться с изобилием. Этот период закончился в начале семидесятых годов в Соединенных Штатах и немного позже в Западной Европе. В этом отношении показательно изучение студенческой среды. Начиная примерно с 1975 года расцвет контркультурных моделей и социально-политических утопий резко прекратился, уступив место оборонительному движению и беспокойству относительно своего профессионального будущего. Это никоим образом не означает, что сомнения насчет индустриального общества должны быть оставлены. Скорее это свидетельствует о невозможности продолжать дальше отделять культурную критику от социально-политической. Критика культуры должна быть преобразована в критику социальных сил, которые руководят новым типом общества. Это ведет не к отказу от роста, а к выработке форм коллективного присвоения инструментов и продуктов этого нового роста.

Атака на понятие программированного общества была предпринята также с противоположной точки зрения, а именно, поскольку оно всегда предполагает существование гражданского общества и собственно социальных отношений. Критики такого рода [:141] спрашивают, не имеет ли это понятие реальный смысл только для маленькой части мира и то для очень короткого периода? Эпизод с гражданским обществом заканчивается, и снова повсюду утверждается государ-

ство и совокупность механизмов поддержания и установления социального порядка. Разумное основание этой критики легко заметить. Большой надеждой индустриального общества было рабочее движение, которое называло социализмом модель общества, противоположную капиталистическому обществу. Но исторически надежда на общество, несущее освобождение трудящимся, воплотилась в тоталитарном государстве, которому присуща логика абсолютной власти, а вовсе не защиты угнетенных. Поэтому критика коммунистической модели, которую самые осторожные хотели бы называть сталинской, чтобы ограничить область ее применения, привела некоторых к распространению представлений об индустриальных, а не только коммунистических обществах как обществах этатистских. Вместо того чтобы анализировать новые конфликты и новые общественные движения, такие теоретики делали акцент на репрессии, идеологической обработке и закрытости. В действительности это помогло высветить большое число до того бывших в тени социальных феноменов, но несет опасность извращения социального анализа в той мере, в какой указанный образ, кажется, исключает возможность конфликтов и борьбы в современном обществе.

Лучшим ответом на этот второй род критики является растущее разъединение социальных отношений, гражданского общества и государства. Вероятно, — и это по-видимому самое важное явление на мировом уровне, — что растущее число стран все более ускоренно и энергично вступают в процесс индустриализации. Чем более этот процесс энергичный, тем менее он управляется социальными силами, которые еще и не конституировались, и тем более он, следовательно, управляется государством, национальным или иностранным.

По сравнению с западными странами, проходившими путь индустриализации в прошлом веке, современный мир в гораздо большей степени зависит от государственного управления. Но, еще раз, этот феномен не имеет той же природы, что и переход от индустриального общества к программированному. Неточно в этой связи говорить о властной элите, о государственном монополистическом капитализме или о государственной буржуазии. Совсем напротив, нужно еще более отделять между собой анализ государства и анализ гражданского общества. Разве даже в такой стране как Франция нельзя было наблюдать развитие больших технократических аппаратов, [142] происходившее независимо от государственных переворотов, начиная со слабого государства IV Республики до современного индустриализаторского государства с промежуточным звеном в виде собственно этатистского государства голлистской эпохи, озабоченного суверенитетом и величию? Чем более слабо интегрировано гражданское общество, тем более оно представляет собой сеть со множеством центров решения и областей социального влияния и тем более государственная сфера отделяется от сферы общества. Ибо первая представляет собой область исторического изменения, в ней осуществляется поддержка идентичности социального целого в его движении от прошлого к будущему, где этому целому угрожают окружающие его сообщества, между тем как гражданское общество — это совокупность сложных общественных отношений со все более многочисленными точками конфликтов и переговоров. Иллюзия возврата к равновесию, так же как мнение о всепоглощающем государстве, сегодня могут лишь задержать изучение новых правящих сил, новых движений протеста и ставок их конфликтов.

## Заключение

Итак, не существует такого полного, как некоторые думали, разрыва между индустриальным обществом и тем, которое следует за ним. Мы не увидим возрождения новых «примитивных» обществ. Не увидим мы и полного слияния социальных проблем и собственно политических, за исключением тех регионов, где

царит закон авторитарных государств. Общество, в которое мы входим, как и предшествующие общества, определяется воздействием на самого себя, каковое через классовые отношения создает разновидности практики. За меновыми обществами следовали общества производства, теперь появляются общества коммуникации. Радикально новым в них является то, что их способность самопроизводства растягивается на все уровни экономической деятельности, они не считают себя более социальными феноменами, подчиненными трансцендентному уровню. Программированное общество не признает высшего в отношении себя уровня. Также оно не может признать отдельной от себя природы. Вот почему оно, с одной стороны, признает, что является частью природы и ответственным за нее, то есть признает необходимость управлять всей совокупностью видимых последствий своего воздействия на него. С другой стороны, оно не признает других богов, кроме самого себя, так как оно способно почти [ :143 ] полностью трансформироваться и даже саморазрушиться. Особенность коммуникативного общества заключается в том, что его можно и должно исследовать исключительно в терминах социальных отношений. Смысл поведения действующих лиц не следует искать в принципах, в устройстве вселенной или в смысле истории; его нет ни в каком другом месте, кроме социальных отношений, часть которых данное действующее лицо составляет. В первый раз анализ общества должен быть чисто социологическим. Это означает также, что механизмы социального контроля или социализации становятся в своей совокупности все более репрессивными, так как они не могут более требовать к себе уважения как к естественным законам или надеяться на поддержку как традиционные предписания. В этом типе общества все объективное, установившееся, институциональное является все более помехой социальным отношениям, коммуникации. Это объясняет значение, которое имеет в современном социальном мышлении критика, направленная против государства. Программированное общество является также обязательно обществом протеста, воображения, утопии, так как оно целиком основано на социальном конфликте между аппаратами, которые имеют способность и власть программировать, и теми призывами к творчеству и счастью, которым постоянно угрожает логика вышеназванных аппаратов.

Сама социология не может больше заниматься вопросами о природе общества. Она должна раскрывать, описывать социальные ситуации и социальные отношения, которые скрыты явлениями по видимости административными или техническими. Именно поэтому особенно надо избегать называть это общество техницистским или по имени одного из его технических инструментов. Напротив, нужно представлять его как сферу конфликтных социальных отношений, которые могут вести либо к политическим переворотам, либо, наоборот, к относительно устойчивым компромиссам. В результате лучше проявится новый характер общества, которое не имеет какой-либо высшей природы, а является целиком продуктом самопроизводства.

## **Новые социальные конфликты**

### **Чтобы избежать недоразумений**

Я предпочел здесь остановиться, насколько возможно, на «фактах, свидетельствующих о будущем», вместо того чтобы описывать глобальную историческую ситуацию. Опасность такой позиции [ :144 ] очевидна. Никто не думает, чтобы какое-либо национальное общество уже действительно стало постиндустриальным. Колебания насчет названия такого типа обществ указывают на то, что их нельзя еще определить непосредственно изнутри. Некоторые могут опасаться создания

социологии-фикции. На самом деле опасность заключается в другом. Все, кто интересуется трансформацией индустриальных обществ, хорошо знают, что их видение слишком ограничено: чтобы избежать ловушек воображения они держатся как можно ближе к индустриальной действительности. Чтобы понять эту опасность, достаточен один пример. Так, со всех сторон говорят о возрастающем господстве мультинациональных фирм. Но это наблюдение не может нам помочь в определении постиндустриального общества и того, в чем оно противостоит индустриальному обществу. Дело в том, что эти предприятия принадлежат к совершенно разным историческим типам, начиная с компаний колониального типа и вплоть до I.B.M., которая занимается современной технологией информации.

Нужно, таким образом, пойти на один риск, чтобы избежать другого. Нельзя пытаться изолировать предполагаемые современные «тенденции» общественной жизни в особой области социальной действительности, например, конфликтов. Нужно как можно более прямо увязывать изучаемую тему с центральными аспектами данного типа общества, отдаваясь, таким образом, особому приему, состоящему в том, чтобы по возможности отдалиться от социальной организации и ее функционирования и создать в результате схему анализа, включающую некоторые последствия для особой области социальной действительности. Вот почему я здесь ограничусь изложением четырех общих положений, определяющих природу социальных конфликтов в новом обществе.

### **Конфликты пронизывают все постиндустриальное общество**

Это общество означает исчезновение как священного, так и традиционного. Указанное явление не ново и не должно быть таковым. Постиндустриальное общество выступает здесь как обновленная и более сознательная форма старой тенденции индустриализации или даже модернизации.

В прошлом социальные требования были неопределенными в силу того факта, что они хотя и имели всегда в виду реального социального противника, но в то же время апеллировали к представителю метасоциального порядка. Зависимый трудящийся боролся против [145] своего хозяина, владельца земли или торговца, но взывал также к справедливости священника или короля. Рабочий боролся с капитализмом, но социализм обращал также свой призыв к национальному государству, этому чуть ли не естественному агенту исторического развития. Более того, всякое общественное движение, будучи агентом конфликта, всегда связывало свое оппозиционное действие с образом вновь объединенного сообщества, в котором стали бы возможны расцвет человека, свободное развитие производительных сил, реализация национального единства, защита общего блага и т. п. Таким образом, конфликты, по крайней мере самые фундаментальные, наименее поддающиеся урегулированию путем переговоров, оказывались соединенными с образом общества, свободного от конфликтов, своего рода воплощением на социальном уровне некоего метасоциального порядка. В то же время каждое общество содержало зарезервированный сектор, защищенный от социальных конфликтов. Не верим ли мы до сих пор в священную роль науки, защищенной области индустриального общества, к которой равно взывают правые и левые, капиталисты и социалисты?

Теперь не только это священное исчезло, оно оказалось захвачено фундаментальными конфликтами, вместо высшего мира единства создается центральное место социальных конфликтов.

Символом этого распространения конфликтов может быть исчезновение мечты о бесклассовом и бесконфликтном обществе. Кажется, что каждый шаг вперед внутри социалистического мира все более отдаляет конечное сообщество. В Китае



говорят, что классовые конфликты сохраняются в социалистическом обществе, во Франции надеются только на наступление переходного к социализму общества.

Копией исчезновения священного является исчезновение традиции, то есть исчезновение кроме того, что перешло от прошлого, самих правил социальной и культурной организации, основанных на необходимости поддержания существования коллектива или его выживания. Исчезают системы обмена, разлагаются системы родства, разрушаются сообщества, происходит ослабление или кризис механизмов социального воспроизводства. Обучение признавалось переносчиком определенного культурного наследия, так же как механизмом адаптации к профессиональным и социальным изменениям. Первая из этих функций резко слабеет, против образования выдвигаются упреки в том, что оно является архаическим и одновременно выступает силой вдалбливания господствующих норм. Этот пример, слишком известный, чтобы на нем долго останавливаться, важен, [146] потому что он свидетельствует о проникновении социальных конфликтов в огромную область, которая до того казалась далекой от них. Это область «частной жизни»: семья, воспитание, сексуальные отношения.

Этот закат священного и традиции, распространение конфликтов ослабляют все более и очень наглядно роль *интеллигенции*, если под ней понимать совокупность образованных людей, служащих посредниками между политической системой и слоями населения, исключенными из нее.

Постиндустриальное общество имеет тенденцию быть массовым, оно осуществляет все более масштабную «мобилизацию» населения. Его отличает от индустриального общества быстрое развитие информации и коммуникаций, что ослабляет роль посредников. Ленинизм и еще многие националистические и революционные движения Третьего Мира распространяли идею, что социальные требования, если они хотят освободиться от ограниченности в которой они заперты, должны быть взяты на вооружение политической партией. Эта идея кажется запоздавшей уже по отношению к практике индустриализованных обществ. И хотя базовые движения и призыв к стихийности имеют другие причины и могут в силу этого быть явлениями кратковременными, они кажутся одним из знаков более длительной трансформации. А именно, знаком сближения между социальной базой коллективного действия и употребленными на общественном уровне средствами. Такое наблюдение вовсе не предполагает определенных форм политической системы, а указывает просто на закат партии-посредника. Требование, идущее снизу, прямо ставит под вопрос общие направления развития общества как тогда, когда требование выдвигает реформаторская группа интересов, так и тогда, когда оно принадлежит революционной силе. Именно это объясняет, что власть оказывается все более чувствительна к «общественному мнению». Это смутное скорее выражение в действительности указывает на совокупность групп давления, интересов, все более автономных конфликтов.

Такая чувствительность может сопровождаться со стороны власти ощущением неуверенности и вследствие этого привести к ускоренному развитию пропаганды, репрессий и идеологического контроля. Но может также привести к растущей открытости политической системы и к децентрализации принятия решений.

То обстоятельство, что центральная власть и базовое движение находятся лицом к лицу, не означает само по себе никакого ослабления [147] или усиления политической системы. Важно тут то, что такое положение указывает на масштабное появление общественных движений, которые обретают форму не на уровне политического коллектива, а на уровне самих социальных проблем. На это указывал уже интернационализм рабочего движения, но эта тенденция к автономии общественных движений по отношению к их политическому выражению

(противоположность которой увидим дальше) приобретает все большее значение, будучи усилена ролью массовых средств информации, которые заменяют собой интеллигенцию и собственно политическое посредничество.

### **Перед лицом все более интегрирующейся власти оппозиция стремится охватить все более глобальные группы**

Это высказывание продолжает предыдущее. Главные конфликты всегда связывались с метасоциальной областью, которая, как казалось, управляла обществом. Идея, что в обществе господствует экономика, ведет к тому, что фундаментальные конфликты оказываются в сфере труда. Также в обществе, которое предшествовало индустриальному, превосходящая роль политической суверенности придавала центральное значение конфликтам относительно гражданства и гражданских прав. Таким образом, в каждом обществе как будто существует привилегированная социальная область, к которой и относятся фундаментальные конфликты.

В обществе, которое не определяется больше своим подчинением некоему социальному плану, а только способами воздействия на самого себя, такое положение исчезает. В нем социальное господство выходит из особой области и интегрирует их все. В обществе такого типа авторитарный режим может стать тоталитарным, хотя, очевидно, ничто не требует, чтобы такие общества имели авторитарный режим. Повсюду устанавливается способ глобального управления, который не может ограничиться одной экономической политикой. Страны, верящие в возможность экономической трансформации при сохранении унаследованных от прошлого форм социальной организации, рискуют оказаться неспособными глубоко проникнуть в постиндустриальное общество. Именно это происходит в Западной Европе, которая экономически достаточно современна, чтобы пойти вслед за американским обществом, но в социальном плане недостаточно современна, чтобы стать автономным очагом развития. [148]

Управление и социальный контроль сближаются, ибо речь идет о том, чтобы все больше руководить людьми. Уже теперь общественные науки дали рождение неким технологиям, особенно в экономической области, где предвидение и планирование покоятся на значительно улучшенной экономической информации, проясняющей решения, которые иногда могут быть даже смоделированы. То же происходит в чисто социальной области, где, например, отношения обучения и власти также трансформировались под влиянием общественных наук. Тот факт, что большие предприятия часто прибегали к карикатурным формам психосоциологической интервенции, не дает возможности думать, что последние вообще не действительны и составляют только дымовую идеологическую завесу. Одна из самых четких линий разграничения между индустриальным обществом и постиндустриальным заключается в том, что последнее заставляет перейти от разделения техники, считающейся продуктивной, и культуры, рассматриваемой как сила воспроизводства, к взаимозависимости технических и гуманитарных факторов. Критика, которая с начала XX века адресовалась тэйлоровскому рационализму, и развитие социологии труда имели и до сих пор имеют чрезвычайное значение, поскольку благодаря им мало-помалу анализ в терминах организаций заменил собой анализ в терминах предприятий (понятых чисто экономически или в качестве технических форм производства).

Несколько этих замечаний имеют только цель объяснить главную трансформацию социальных конфликтов. Не во имя гражданина или трудящегося может вестись большая борьба в защиту их требований против аппарата господства, который все более управляет всей совокупностью общества в целях направить его по определенному пути развития. Она может вестись сегодня во имя коллективов,

определенных более их бытием, чем деятельностью. Изменение по сравнению с прошлыми обществами очевидно. *Le negotium* (труд) был базой протеста народных слоев против *l'otium* (досуг) правящего класса. Сегодня последний представляет *negotium*, технократию, а не *leiser class* (свободный класс). Наоборот, группы, подверженные социальному господству, защищаются прежде всего путем глобального сопротивления манипуляции. Сопротивление глобальному господству не может происходить в рамках какой-либо одной социальной роли, оно получает значение, только если мобилизует весь коллектив в целом.

Важную роль могут играть студенты, потому что увеличение их численности и продолжительности занятий создало студенческие [149] коллективы, которые имеют собственное пространство и противопоставляют устойчивость своей культуры и свои личные интересы пространству больших организаций, которое все более прямо им навязывается.

Проблемы труда не исчезли, но они включены в более обширное целое. В качестве таковых они перестают играть центральную роль. Бесплезно искать собственно среди рабочих знаков революционного обновления.

В Италии и во Франции, где оно, по-видимому, наиболее боеспособно, рабочее движение в результате конфликтов и кризисов, которые могут быть сильными, добивается мало-помалу расширения прав и возможности переговоров, то есть некоторой институционализации трудовых конфликтов. Коммунистические или социалистические партии в этих странах становятся постепенно «республиканскими» или «демократическими» движениями, аналогичными радикализму конца XIX века, и стремятся к тому, чтобы включить в политическую систему социально относительно обделенные категории населения. Гольдторп (Сравни Goldthorpe etc. *The Affluent Worker*. Cambridge University Press. 3 vol., 1968–1969. Сокращенный французский перевод — *L'ouvrier de l'abondance*. Seuil, 1972) и его сотрудники хорошо показали, что это не означает ни обуржуазивания рабочего класса, ни также укрепления или простого обновления рабочего движения. Последнее перестает быть центральным персонажем социальной истории по мере того как приближается постиндустриальное общество.

Вообще можно наблюдать, что большинство общественных движений, занимающих сегодня историческую сцену, опираются на статус «переданный», а не «приобретенный» действующим лицом. Говорят о движении женщин или молодежи, о движении черных или американских индейцев, о движении населения региона, страны или континента.

Было бы заблуждением думать, что сейчас осуществляется переход от общественных движений к контркультурным. Последнее выражение довольно смутное и покоится на ложной, в моих глазах, трактовке значения событий вроде тех, которые имели место в Мае 1968 года.

Не нужно смешивать возникновение утопий нового типа и общественные движения. Но эти новые утопии важны, потому что они обозначают направление, в каком формируются новые общественные движения. [150]

### **Социальные конфликты и маргинальные, или отклоняющиеся от нормы формы поведения стремятся наложиться друг на друга**

В современной ситуации силы оппозиции все более предстают как меньшинства по мере того как общий аппарат управления стремится контролировать всю совокупность общества. Говорят, естественно, о молчаливом большинстве, и не только в отношении стран, где оппозиция задавлена прямыми репрессивными мерами, как в Советском Союзе, но и в отношении политически либеральных капиталистических стран. Параллельно, особенно в Соединенных Штатах, все более объединяются силы оппозиции или сопротивления под именем меньшинств. Так

обозначают черных, американцев мексиканского происхождения, индейцев, а также гомосексуалистов или даже женщин, которые находятся в положении меньшинств в высших или хорошо оплачиваемых профессиях. Удивительное превращение, такое же впечатляющее, как превращение *negotium* и *otium*. Еще недавно власть принадлежала монархам или олигархам. Она включала от 50 до 200 семей. И недавняя концентрация экономической власти не оставляет сомнений, так как руководители крупных предприятий с мультинациональными операциями сосредоточивают в своих руках все более значительную власть. Однако чем более приобретает значение управление технико-социальными системами, тем более социальная интеграция становится важным инструментом власти. Я не беру здесь общества, которые стремятся ликвидировать свое запоздание в развитии и выйти из положения зависимости. Наоборот, я ограничиваюсь самыми передовыми обществами западного типа, в которых нет такой идеологической и политической мобилизации. В их случае интеграция не идет сверху, от центра решения, а снизу: потребление устанавливает иерархию и интегрирует, умножая признаки социального уровня. В самих организациях действуют другие силы интеграции. Все члены таких объединений, находящихся в центре общества, получают выгоду от силы системы не только в виде более высокой заработной платы, но также в виде большей обеспеченности занятостью, перспектив карьеры, социальных преимуществ. Некоторые восстают против такой интеграции, требуя индивидуальной инициативы или соблюдения технической рациональности, когда речь идет о высших кадрах. Но большая часть служащих очень чувствительна к протекции, которую дает большое предприятие или его эквивалент. Оппозицию составляют не те, кто решает порвать с такими [151] организациями и преимуществами, которые они дают, это довольно ограниченная аристократическая реакция. Оппозицию составляют прежде всего те, кто раздавлен силой организаций или испытывает их господство. Во многих случаях большая организация предлагает образ нормальности, центральности и таким образом конституирует маргинальные группы, навязывая им свои нормы.

Одним из самых важных примеров, которым уделяют еще очень мало внимания, является здоровье. Повсюду существует очень сильная тенденция «медицилизировать» социальные проблемы. Школьные трудности ребенка могли бы в таком случае быть объяснены его социальным происхождением или природой школьных норм. Однако мощные силы работают таким образом, чтобы превратить этого ребенка в больного. Это может рассматриваться как прогресс по отношению к более резким оценкам вроде обвинения в лени или в неспособности к разумному мышлению, но речь идет во многом о сведении социальных проблем к проблемам маргинальности. Развивая до крайности эту тенденцию, доходят до того, что запирают политических противников в психиатрические госпитали. Сведение конфликта к маргинальности вызывает в свою очередь переинтерпретацию маргинальности в терминах конфликта. Наблюдали антипсихиатрию, которая ставила под вопрос определение безумия как отклонения, некоторые интерпретации доходили до того, что отождествляли безумие с желанием, с либидо, подавленным и разрушенным социальной организацией.

Еще более интересно наблюдать появление протеста и конфликта там, где существовало только подавление отклонения от нормы. Ставшие частыми во многих странах восстания заключенных имеют более широкий смысл, нежели просто оспаривание условий заключения. Распространение повсюду понятия социального порядка оказывается в то же время непосредственно связано с господствующей идеологией. Она, стало быть, и поставлена под вопрос. Это заключение вновь приводит к предыдущей теме: конфликт не связан с некоей фундаментальной областью социальной действительности, с инфраструктурой общества, особенно с

трудом, он повсюду. Как различие продуктивного и непродуктивного не имеет больше смысла, так же утрачивает всякую пользу различие «инстанций» — экономической, политической, идеологической...

Но если фундаментальные конфликты стремятся проявиться во всех областях общественной жизни, из этого следует, что нет больше четкого различия между конфликтами и другими типами [:152] неконформистского поведения. Может быть, это различие было связано просто с фазой решений путем переговоров рабочих конфликтов и, значит, с «ответственной позицией» профсоюзов и партий. Между тем, мне кажется, что наблюдаемая эволюция менее конъюнктурна. Чем более мы углубляемся в прошлое, тем большей оказывается дистанция между оппозиционными силами, к каковым прежде всего принадлежат подымающиеся новые правящие классы, и силами исключенными, которые рассматриваются как порочные, криминальные, *out-groups* (внегрупповые — М. Г.). Не переживаем ли мы в настоящий момент обратное движение, смешение оппозиционера и отклоняющегося от нормы, ставшее логичным с момента, когда господствующая группа навязывает порядок и нормы поведения всему обществу?

Это глубоко изменяет привычный образ социальных конфликтов. Мы унаследовали от периода индустриализации образ двух противников, капиталистов и рабочих, стоящих лицом к лицу на той почве и с тем оружием, которые выбраны правящим классом, но которые не мешают прямому столкновению классов. Сегодня, напротив, нам предлагается образ безличного, интегрирующего центрального аппарата, который держит под своим контролем кроме «класса служащих», молчаливое большинство и проектирует вокруг него некоторое число меньшинств, исключенных из целого, запертых, лишенных привилегий или даже отвергнутых.

Можно себе представить возникновение гетто, где бы жили группы, отброшенные вследствие социальной дифференциации. Они могли бы развивать свои подкультуры или антикультуры, находясь все же в зависимости от центрального ядра. Такие «маргиналы» несут в себе черты двусмысленности, о чем свидетельствуют объединения молодых, умножившиеся одно время. Они являются источниками глобального протеста и в то же время местами добровольного и зависимого уединения. Не организуются ли в маргинальные города такого типа молодые и старые, с характерным для них неучастием в больших организациях?

Интеллектуалы, лишенные роли интеллигенции, стремятся также протестовать против социального порядка, способствуя тем не менее его поддержанию самой своей маргинализацией. Кажется все более трудным увидеть непосредственно «чистые» фундаментальные конфликты. Все смешивается теперь, маргинальности и эксплуатация, защита прошлого и требования относительно будущего. [:153]

### **Структурные конфликты отделяются от конфликтов, связанных с изменением**

В очень большой части мира проблемы развития управляют всеми другими, общества определяются скорее их способом изменяться, чем специфическими проблемами того или другого типа общества. Но реальность оказывается иной в индустриализованных обществах. Хотя они осуществляют ускоренную трансформацию, они живут все более синхронно. Это также связано с расширением политической системы и с развитием общества и массовой культуры. Именно это привело к признанию границ роста. Тема существенная, так как она порывает с историцизмом и эволюционизмом прошлого века, данниками которых мы еще были. Нам все более трудно видеть в оппозиционных силах носителей новой власти: оппозиция должна определяться как таковая, не заключая в себе модели общества и зародыша нового государства. Народный класс не может более отожд-

дествляться с новым типом правителей. Мы открываем, что классовые конфликты не являются более инструментами исторических изменений. Это объясняет, почему мы встречаем скорее силы сопротивления и защиты, а не способность к контрнаступлению, скорее конфликтные ситуации, чем конфликты. Обычно обороняющиеся группы вовлекались в контрнаступление либо новым правящим классом, либо политической и идеологической элитой. Оказавшись независимыми, не рискуют ли силы конфликта остаться чисто оборонительными, в то время как аппарат воцарится как солнце посреди общества? Не поразительно ли видеть, что в той части мира, где оппозиция не задушена, она крошится, а общественное движение, аналогичное тому, каким могло быть рабочее движение в середине предшествующего периода, так и не появляется? Напротив, в остальном мире в результате господства больших империй государство становится главным агентом оппозиции с тех пор как национальное сообщество оказывается независимым.

Такой тип коллективной мобилизации, который позволяет какой-либо стране преодолеть новый этап, несмотря на помехи, которые тормозят ее прогресс, и в особенности несмотря на испытываемую ею зависимость, не имеет той же природы, что и общественные движения, формирующиеся внутри постиндустриального типа обществ. Точно так же нельзя смешивать рабочее движение, то есть структуральную оппозицию капитализму, и государственную, революционную или консервативную политику добровольной индустриализации в зависимой или слаборазвитой стране.

В этих условиях идеологически связанный ансамбль общественных движений не может обрести принципа единства, которое бы сделало из него возможного управленца. Оппозиционные общественные движения объединяет только их оппозиционное положение.

Посредством своего критического действия они стремятся постоянно разбивать корку идеологий, разновидностей практики и ролей и вновь обрести не спонтанность или человеческую природу, а реальность социальных отношений. Их критическое действие оказывается единственным возможным принципом объединения оппозиционных сил и сопротивления в том типе общества, в который мы входим. Эти общества осуждены быть авторитарными, осуждены на господство аппаратов, если не трансформированы упомянутой критической деятельностью, элементарным условием демократии. Перед лицом суверена демократия была политической, перед лицом капитализма она должна была стать «социальной», то есть проникнуть в область труда, стать индустриальной демократией. Перед лицом правящих аппаратов, руководящих все более всеми аспектами социальной жизни, демократия может быть только глобальной, культурной в том смысле, в каком говорили о культурной революции. Конфликт, стало быть, должен существовать и признаваться во всех областях социальной жизни и, особенно, на уровне социальной и культурной организации, то есть установленного порядка. Повсюду, где существует порядок, должно существовать его оспаривание. Смешно, если последнее имеет в виду создать параллельный контрпорядок, как хотели это сделать критически настроенные преподаватели университетов, более догматические, чем другие. Но упомянутое оспаривание является фундаментальным, если помнить при этом, что порядок скрывает собой интересы, конфликты и их цели. Не наблюдаем ли мы, что социальные образования, которые традиционно занимались созданием и передачей социального и культурного порядка, вроде школы, церкви и даже семьи, оказываются иногда убежищами и все чаще базой протеста? Формирующиеся конфликты все более направляются против «суперструктур» или, проще говоря, против порядка, ибо новая власть обладает ранее неизвестной способностью придавать себе видимость порядка, господствовать над социальной организацией в целом, над разновидностями социальной практи-

ки, вместо того чтобы запереться в укрепленных замках, дворцах или финансовых городах. Мы входим в общество, которое [155] не может более «иметь» конфликты: или последние задавлены в рамках авторитарного порядка, или общество осознает себя как конфликт, оно является конфликтом, потому что оно представляет собой просто борьбу противоположных интересов за контроль над способностью общества воздействовать на самого себя.

Но к этому единству оппозиционных движений добавляется более позитивный механизм объединения: собственно политическое действие. Это прямое следствие уже отмеченного разделения общественного движения и партии. С того момента, как движение не является более базой или первичной материей для деятельности партии, которая одна только может быть носителем смысла, нужно перевернуть отношение и признать, что общественные отношения могут конституироваться и интегрироваться между собой только в той мере, в какой они находятся в соотношении с политическими силами. Но последние не являются представителями движений, хотя и основывают на них свою стратегию. Народные общественные движения могут организовываться только в рамках политической стратегии «левой», но первые есть и будут все более независимы от политических партий. Последние терпят неудачу, если они идеологизируются; первые разделяются, раздробляются, если они не объединены стратегически, то есть с помощью собственно политических целей, в большой мере инструментальных, но по отношению к которым движения сохраняют свою свободу и остаются всегда в роли оппозиции или в ситуации выхода за рамки порядка. Вследствие этого форма деятельности общественных движений будет зависеть все больше от характеристик политической системы.

Зато оставаясь такими же раздробленными, какими они являются, движения станут носителями глобального смысла, некоего образа общества, и перестанут замыкаться в ограниченном мире требований и реформ. Если же политическая система замкнута, имеет форму деспотизма, общественные движения рассеиваются и в конечном счете смешиваются с маргинальными или отклоняющимися формами поведения.

Относительная значимость базовых общественных движений и их интеграции с собственно политическим уровнем зависит прежде всего от степени отделения проблем развития от проблем, свойственных функционированию постиндустриального общества. Вследствие этого, чем больше общество продвинулось в направлении постиндустриализма, тем более значительна роль политической системы и ее составляющих, а это благоприятствует сильной диверсификации [156] базовых движений в духе *grassroots democracy* (корневой демократии — М. Г.). Когда препятствия к вхождению в постиндустриальное общество более велики, политические институты оказываются менее автономны по отношению к государству или, наоборот, по отношению к управляющей развитием иностранной буржуазии. Тогда оппозиционные движения объединяются скорее идеологией социального протеста, чем собственно политической стратегией. Оба упомянутых случая соответствуют, может быть, классическому делению современных обществ, таких как Швеция, Соединенные Штаты, Германия или даже Великобритания, и обществ еще очень гетерогенных, включающих большие архаические сектора, таких как Франция и Италия.

Доминирующая идея только что сформулированных различных гипотез может быть легко резюмирована следующим образом. Не будучи ничем иным кроме того, что оно делает, будучи освобождено от всякого обращения к сущностям, постиндустриальное общество становится целиком полем конфликтов. Последние могут или нет обсуждаться и ограничиваться в зависимости от состояния рассматриваемого политического коллектива и его институтов. Эта идея, очевидно,

противоречит мнению, будто обогащение приведет к смягчению конфликтов, и еще более другому, слишком поверхностному и не заслуживающему большой дискуссии, согласно которому должно происходить рассеяние «больших конфликтов» во множестве очень эмпирических напряжений, стратегий и переговоров, направленных исключительно на управление изменением.

Очень важно придать значение существованию некоего общественного типа и проанализировать его структурные конфликты. Можно отрицать принятое здесь разделение между индустриальным и постиндустриальным обществами, но нельзя считать, что единственная проблема наиболее индустриализованных обществ заключается в управлении изменением. Проблемы власти и социального господства не исчезли, область структурных конфликтов только расширяется по мере того как область священного тает в огне запланированных или организованных трансформаций.

## Отток общественных движений

Еще десять лет назад наша общественная сцена казалась захваченной новыми общественными движениями, которые ставили под вопрос формы власти, характерные для передового [157] индустриального общества или даже для постиндустриального. После первых ударов, нанесенных студентами из Беркли, затем Нантерра, появились экологистские и антиядерные движения, ассоциации потребителей и лиги самоуправления в области здоровья, феминистские ассоциации и движения освобождения женщин. Эти изменения в социальной действительности отразились на самой социологической мысли и привели многих социологов к признанию центральной значимости понятия общественного движения.

Но с какого-то времени оказалось, что эти факты и идеи принадлежат прошлому. Экономический кризис, серьезность международных столкновений, а также сильные коллективные движения, очень далекие от тех, которые знал Запад в шестидесятые годы, например, в Иране, с одной стороны, и в Польше, с другой, приводят к отходу от упомянутых течений мысли, которые, со своей стороны, утрачивают их силу и находятся либо в изоляции, либо пользуются очень поверхностным влиянием. Размышления об обществе приобретают все больше форму анализа государства, его экономической политики и его роли в международной конкуренции. Скоро, может быть, тема мировой войны и мира будет единственной, привлекающей внимание. Некоторые уже думают, что недавние общественные движения, казавшиеся несколько лет назад носителями будущего, были в действительности просто последними огнями во многом закончившейся эры, эры безудержной экспансии, связанной с западной гегемонией в отношении большей части земного шара.

Принадлежит ли к тем, кто придавал самую большую важность новым общественным движениям и кто хотел из размышлений над ними извлечь новую концепцию социологии, я считаю необходимым бросить критический взгляд на те факты и идеи, которым я придавал такое значение. Вопрос в том, не придавали ли мы преувеличенное значение феноменам по сути неважным и эфемерным? И даже не лежало ли в основе этого снисходительного внимания к второстепенным феноменам чувство боязни по отношению к великим потрясениям, которые меняют мир и которые не имеют большой связи с состоянием души интеллектуалов, принадлежащих к средним классам самых богатых стран мира?

Каким бы не был ответ на сформулированные таким образом вопросы и критику, сегодня невозможно удовлетвориться произвольным описанием этих новых общественных движений. Нужно задать себе вопрос о трудностях, которые они встретили, о причинах их упадка и, может быть, исчезновения. [158]



Социологи, которые придали значимость существованию этих новых общественных движений, в любом случае слишком поспешно отождествили наблюдавшиеся ими особые действия с общей моделью. Они, таким образом, недооценили важность обстоятельств, в которых развивались упомянутые движения. А эти последние были очень особенными в силу, по крайней мере, двух причин. С одной стороны, их борьба развивалась в исключительный экономический период, в конце длительной фазы экономической экспансии и веры в способность индустриальных обществ, особенно западного типа, к бесконечному обогащению и усложнению. С другой стороны, эта борьба оказалась связана с идеологиями совсем другой природы, ставящими под вопрос господство центральной политико-экономической власти не только в рамках самих западных обществ, но особенно в масштабах всего мира. Студенческие волнения в Соединенных Штатах, Японии, Германии, Италии и Франции в ходе шестидесятых годов не могут быть поняты вне связи с большими движениями против войны во Вьетнаме, которые развились тогда в этих странах. Эта антикапиталистическая, антиимпериалистская и антиколониалистская направленность была часто в высшей степени далека от тем новых общественных движений, особенно в Соединенных Штатах. Что общего между Free Speech Movement в Беркли в 1964 году и идеологией S.D.S. в Колумбии, а затем идеологией Weathermen? Такая же противоположность наблюдалась и во Франции 1968 года, где открытая культурная брешь, формирование новых общественных движений и гошистская идеология смешивались, взаимно усиливались, сохраняя в то же время свою противоположность.

Но авторы таких исследований имеют право ответить, что слабости их анализов были неизбежны. Маркс не мог осознать особых условий капиталистической индустриализации в Англии, когда он разрабатывал свою общую теорию капитализма, исходя единственно из английского примера, в силу того превосходного аргумента, что к моменту, когда формировалась его мысль, британский пример был издавна самым важным и почти единственным, который он мог наблюдать. Точно так же в ходе шестидесятых годов важно было заметить новые действующие лица и области социальной борьбы. Но независимо от того, примут или нет такое оправдание, понятно тем не менее, что в 1985 году нельзя больше удовлетворяться таким слишком простым отождествлением социальной структуры и особой исторической конъюнктуры и что нужно, значит, учиться разделять [159] в так называемых новых общественных движениях общее и особенное, временное. Это тем более необходимо, что большие темы протеста не привели к созданию новых политических действий большого значения. Тогда как рабочее движение и, в особенности, профсоюзное вызвали довольно скоро формирование социалистических групп, движений и партий, нужно признать, что до сих пор новые общественные движения привели только к созданию слабых, за исключением Германии, экологических партий и к выдвижению феминистских кандидатов, которые в целом собирали гораздо меньше голосов, чем можно было предвидеть, учитывая их влияние в общественном мнении. Уместно, значит, прежде всего спросить себя о границах особой исторической конъюнктуры, о ее окончании и о том оттоке общественных движений, которое оно повлекло за собой. Затем надо спросить себя, не является ли этот кризис временным и не затронул ли он самого существования общественных движений.

### Разложение

Историки рабочего движения часто настаивали на противоположности периодов, соответствующих двум разным фазам экономической конъюнктуры. Периоды экспансии более благоприятны для формирования общественных и культурных движений, фазы кризиса или спада — для усиления собственно политических

действий. Также сегодня, после десятилетий, во время которых вопрос стоял только о фундаментальных культурных изменениях и низовых инициативах, вместе с перевертыванием экономической конъюнктуры принуждены все больше говорить об экономической политике, о способности верхов принимать решения и о роли государства. Это превосходство политики над социальным и еще более над культурным уровнями проявляется двумя разными способами, которые нужно четко различать, но последствия которых часто перекрывают друг друга.

Наиболее наглядной формой господства политического действия над социальным является терроризм, ибо последний формируется на месте соединения старых общественных движений, ставших скорее идеологическими, чем практическими, и реакций на кризис государства. Как и убийства, осуществленные анархистами в конце XIX века, недавние террористические движения появились в момент, когда исчерпали себя определенный тип общества и соответствующие ему общественные движения. Даже тогда, когда профсоюзные требования широко институционализируются, интеллектуалы и отдельные [\[:160\]](#) активисты хотят, используя силу, проделать трещину в социальном порядке и таким путем оживить массовое действие. Сам по себе терроризм — как и партизанская война в других ситуациях — совсем противоположен классовому и массовому действию. Он свидетельствует, напротив, о крайнем разделении между теоретическим призывом к уже исчезнувшему движению и сильно институционализированными требованиями. Но такая идеологическая компонента ведет к действию лишь в том случае, когда соединяется с формами поведения кризисного типа, то есть когда подвергается сомнению сам социальный порядок и, соответственно, государство как его представитель и гарант. Террористический натиск получил наиболее широкую поддержку в Италии, где другие движения, особенно в городской среде, показали чувствительность мнения к кризису общественного порядка. В Германии тоже, хотя и совсем иным образом, терроризм был неотделим от сознания политического кризиса, сказавшегося в отсутствии возможностей политического выражения у крайней левой. Другой, имеющий отличительные особенности опыт был проделан во Франции, в которой между 1970 и 1973 годами проявились сильные тенденции к терроризму. Ему помешал только союз левой и перспектива электорального политического решения, которое активисты крайней левой надеялись преодолеть, но первейшую необходимость которого они признавали. В других странах, особенно в Великобритании, тенденция терроризма отсутствовала, ибо политическая система оставалась открытой. Здесь социальный отток выразился в возросшем значении традиционных идеологических и политических тем рабочего движения в лейбористской левой и в довольно большом влиянии, завоеванном коммунистами или радикальными социалистами в профсоюзах.

По сравнению с ситуацией, дающей рождение терроризму, ситуация, которая ведет к преждевременной институционализации социальных требований, имеет совершенно иной характер. Во многих странах и особенно в тех, где существовал развитый социал-демократический опыт и где не знают собственно политического кризиса национального государства, движения протеста легко преобразовываются в группы давления, добиваются легальных мер, которые их в большой мере удовлетворяют, оставляя существовать и те силы оспаривания, которые не удовлетворяет полностью ни одна мера. Во многих странах развитая институционализация профсоюзных требований превратила профсоюзных активистов и большую часть рабочего мира в массу, стоящую на защите новых форм социальной [\[:161\]](#) интеграции. Противоположностью этого явилась маргинализация индивидов и групп, в особенности молодых безработных, гнев которых давал иногда энергию движениям протеста, но которые теперь рассматриваются в качестве маргинальных и быстро соприкасаются с преступной деятельностью. Это замечание может

быть обобщено. В большинстве европейских стран, где в большей или меньшей степени существует интервенция государства и господствуют различные механизмы институционализации конфликтов, общественные движения имеют тенденцию снижаться до уровня «социальных проблем» и даже проблем частной жизни. После того как были приняты важные законы, отвечающие феминистским требованиям, движение женщин оказалось вообще ослабленным. В то же время развились группы, внимание которых сосредоточено на опыте тела и ребенка, или еще на поиске женской идентичности, все менее определяемой в терминах конфликта и оспаривания.

Так или иначе, ведет ли к этому насилие или, наоборот, преждевременная институционализация служит помехой для формирования настоящих общественных движений, мы присутствуем при деградации начального порыва. Идя еще дальше, можно утверждать, что если общественные движения существуют только при наличии общей для противников цели, то начиная с момента, когда общество не соотносится больше с метасоциальным принципом единства, такая цель не может больше существовать. Уже упомянутые наблюдатели делают из этого заключение о рассеянии конфликтов. Другие, наоборот, утверждают, что социальная борьба становится борьбой на смерть, ибо господствующее действующее лицо господствует тотально, а подчиненное действующее лицо оказывается в ситуации изгиба. Эра обществ и социальных проблем была бы закончена, и государство стало бы сегодня одновременно и единственным центром власти, и единственным объектом оспаривания. Не в силу ли этой причины в момент, когда слабеют в западном мире реалити и идея классовой борьбы, тема Прав Человека приобретает все свое значение, заставляя ожить традиционную борьбу гражданского общества, которую ведут против государства и его военной и полицейской власти интеллектуалы? Действительно, верно, что на мировом уровне внутренняя социальная борьба индустриальных западных стран имеет слабое значение по сравнению с реальной или потенциальной борьбой и теми страстями, которые пробуждает существование диктаторских и даже тоталитарных государств. Мы достигаем здесь крайней границы той критики, [162] которую ведут против исследований, посвященных новым общественным движениям. Речь не идет только о критике близорукости аналитиков и идеологов и о том, чтобы показать отличие конъюнктуры восьмидесятых годов от конъюнктуры шестидесятых. Речь не идет даже о том, что некоторые общественные движения уже исчерпали себя, тогда как другие еще не сформировались. Эта критика заявляет, что давно пора оставить унаследованные от прошлых веков концепции и что в мире, где мы живем, повсюду, хотя и в самых разных формах, абсолютное государство заменило собой правящий класс. Тем самым хотят сказать, что отныне собственно социальные конфликты заменены политическими и что сегодня снова борьба гражданина против государства превышает по значению борьбу трудящегося против хозяина.

Такого рода критика поднимает вопросы и вызывает сомнения, которые нельзя обойти. Возможно ли перед лицом современной слабости общественных движений придерживаться противоположного мнения, говорить не об их упадке или исчезновении, а наоборот, об их медленном и трудном рождении?

### Формирование

Вернемся назад. Рабочим движением называли реальность не столь простую, как кажется поначалу. Допустим, что местом центральных социальных конфликтов является организация труда, то есть особый уровень социальной организации, не столь высокий, как уровень производства потребностей, который займет центральную историческую сцену только в постиндустриальном обществе. Тогда нужно признать, что собственно рабочее действие в индустриальном обществе

было постоянно подчинено политическому действию и, конкретно, профсоюзы были подчинены социализму. В некоторых странах единство рабочего движения было создано только идеей революции, то есть насильственного взятия государственной власти, каковое, естественно, могло поддерживать только частичные и сложные отношения с рабочим действием, как это хорошо показал пример Советской революции. Часто вспоминают силу рабочего движения, чтобы подчеркнуть слабость новых общественных движений. Но в действительности первое не было полностью общественным движением. Примечательно, что когда большинство аналитиков говорит о рабочем движении, то имеют в виду не борьбу трудящихся против хозяев заводов, а скорее борьбу народа против капиталистов, [163] взятых не в качестве руководителей заводов, а в качестве владельцев денег. Только сравнительно недавно внимание было обращено собственно на формы поведения рабочих, тогда как в течение долгого времени главное внимание трудов и идеологий было сосредоточено на господствующей роли буржуазии в процессе индустриализации.

Напротив, сегодня, по мере того как мы входим в постиндустриальное общество, общественные движения могут развиваться независимо от политических действий, имеющих в виду прямой захват государственной власти. Сегодня общественные движения характеризуются прежде всего тем, что являются чисто социальными. Вот почему их союз с культурными движениями был таким эффективным и плодоносным. Вот почему также в современной ситуации такие движения кажутся ослабленными вследствие поворота к господству политики, тогда как в индустриальном обществе рабочее движение было наиболее сильным лишь тогда, когда социальные требования были взяты на вооружение непосредственно политическим действием. Новизна чисто социальных движений проявляется в самой их форме. Мы еще привыкли к образу маленьких групп активистов с глубокими убеждениями, способных увлечь массу вплоть до политического действия, начиная с прямого столкновения с полицией или армией и до взятия правительственного дворца. Новые общественные движения формируются, напротив, не посредством политического действия и столкновения, а скорее влияя на общественное мнение. Они рассеяны, тогда как рабочее движение было концентрировано. Даже сегодняшняя слабость общественных движений не должна заставить забыть о том, что они представляют большую часть общественного мнения. Легко видеть, что во Франции экологическое и антиядерное движения завоевали на выборах, в которых они участвовали, лишь очень слабый процент голосов, тогда как в течение десятилетия непрерывных успехов добивалась ядерная политика правительства. И тем не менее там, где проядерная пропаганда была сильна, а антиядерные силы слабы и неорганизованны, в 1981 году около 40 % французов высказались против ядерной политики правительства и не вызывающее сомнений большинство населения высказалось за организацию национального референдума по проблемам, жизненно важную которых большинство признавало, как и то, что они разделяют нацию. Может быть, новые общественные движения кажутся такими слабыми только потому, что сознательно или нет мы их всегда сравниваем с одной и той же моделью, с рабочим движением, как бы забывая тогда его настоящий смысл. Наоборот, движение [164] женщин и экологическое движение завоевали очень скоро аудиторию и влияние, которые оказались гораздо более значительными, чем аудитория и влияние рабочего синдикализма и даже всех форм рабочего действия (кооперативы, кассы взаимопомощи, муниципальная политика, культурные ассоциации и т. д.) в середине прошлого века, через несколько десятков лет после того, как начали сказываться результаты большой капиталистической индустриализации.

Теперь, после того как мы долго слушали критику в адрес аналитиков общественных движений, нужно снова взять инициативу и изменить ход нашего размышления. Нужно поставить вопрос не столь исторический и более социологический, чем тот, который мы только что рассматривали, а именно, как могут движения общественности соединиться, сконцентрироваться и сорганизоваться в коллективные действия, способные поставить под вопрос центральные формы социального господства и стать, таким образом, настоящими общественными движениями?

Каким образом защитные реакции перед лицом кризиса могут превратиться в общественное движение, пройдя через несколько промежуточных уровней коллективного действия, через уровень социальной организации или уровень систем решения? Трудно вообразить, в самом деле, чтобы бунт мог бы непосредственно превратиться в центральный конфликт, мятежная сила слишком слаба и слишком подвержена давлению, которые ее маргинализируют. Прежде нужно, чтобы она включилась в социальную организацию, создавая свою способность к протесту. Затем нужно, чтобы она превратилась в группу давления и завоевала некоторое влияние. Если бунт не получит возможности включиться в функционирование общества, он превратится в силу разрыва и даже в революционного агента в том случае, когда силы, отброшенные социальной организацией и системами решений, достаточно сильны и когда установленный порядок достаточно глубоко разрушен кризисом внешнего происхождения. Если говорить о современных западных обществах, революционный исход маловероятен, поскольку в них существует открытость систем решения и управления конфликтами. В таком случае нужно, значит, задаться вопросом о благоприятных или неблагоприятных факторах превращения бунтов и отказа в организационные требования, затем в давление политического типа и, наконец, в собственно общественное движение.

Переход от поведения бунта и отказа к требованиям предполагает одновременно относительную открытость организаций и [165] репрессивное действие со стороны сил социального контроля. Эта комбинация позитивных и негативных элементов обязательно присутствует на всех уровнях. Если репрессия является всеобщей, поведения отказа быстро превращаются в коллективное восстание, но последнее доходит до прямого столкновения, и чаще всего восставшая группа слишком быстро оказывается приведена к крайним позициям, что ведет к ее маргинализации и поражению. Наоборот, отсутствие репрессий и открытость организаций, которые можно считать «демократическими», заканчивается тем, что требования включаются в функционирование этих организаций. Таким образом, для того чтобы восстание стало требованием, нужны два условия: нужно, чтобы оно столкнулось с сопротивлением и чтобы оно, тем не менее, достигло возможности видоизменить функционирование одного из секторов социальной организации. При отсутствии этих условий оно остается замкнуто в себе самом.

Переход от требования к политическому давлению делает прежде всего необходимыми определенную открытость политической системы и особенно вмешательство политических союзников силы, добивающейся своих требований. Именно таким образом в конце XIX века требования рабочих и действия профсоюзов получили поддержку в своем превращении в рабочее движение со стороны прогрессистских политических сил — республиканских, демократических или радикальных партий, смотря по стране. Но нужно также, чтобы выставленные требования одновременно и могли, и не могли стать предметом переговоров, чтобы действие в защиту требований не было поглощено политической системой, но усилено самими ее успехами, в то время как его сила оспаривания не могла бы быть в принципе интегрирована существующей политической системой.

Наконец, переход от политического давления к собственно общественному движению требует также вмешательства и фактора интеграции, и фактора конфликта. Главным элементом конфликта является ясное видение социального противника. Так, сознание и классовая деятельность хозяев индустрии было самым мощным фактором создания рабочего движения. С другой стороны, общественное движение не может сформироваться, если действующее лицо конфликта не отождествляет себя с некими культурными ценностями. Рабочее движение начало формироваться только с того момента, когда оно преодолело свое отрицательное отношение к машинам и стало защищать идею, что надо поставить машины и прогресс на службу трудящимся и всему народу. [166]

Но какова современная ситуация и каким образом имеющееся в общественном мнении недовольство может преобразоваться в общественное движение? Наши общества мало репрессивны, но большие производственные аппараты недостаточно гибки, что может заставить силы недовольства перейти к высшему уровню действия. На этом уровне, представленном системами решения, существует сегодня, как кажется, значительная открытость, особенно в странах, где действует преждевременная институционализация новых социальных конфликтов. В то же время доля не поддающегося переговорам остается существенной, как это можно наблюдать на примерах антиядерной борьбы и движения женщин. Формирующиеся движения могут, значит, легко выразить себя на собственно политическом уровне, сохраняя свою автономию в качестве социальных сил. Зато преобразование силы политического давления в общественное движение оказывается трудным. Это объясняется прежде всего слабостью классового сознания руководителей технократов, зависящего от того, что механизмы перехода к постиндустриальному обществу сегодня более важны и более видны, чем механизмы его функционирования, и особенно от того, что роль государства оказывается все больше, а это ведет к опасному смещению между областью социальных, в особенности классовых отношений и областью государственной инициативы. В период лет большого роста классовое сознание технократов развивалось очень быстро. Наступление кризиса спровоцировало как со стороны руководителей, так и со стороны народных движений регресс, заключающийся в сведении социальных конфликтов к более низкому уровню. Другая трудность происходит от того, что интеллектуалы неясно формулируют цели новых видов борьбы.

В XIX веке, начиная с Сен-Симона и Огюста Конта и до Спенсера, с большой силой развивались темы прогресса и эволюции. Сегодня верно, что интеллектуалы создают новую модель сознания и заставляют также проявиться новые механизмы инвестиции. Но еще более верно, что самые важные течения в интеллектуальной жизни продолжают интерпретировать прошлую практику и прошлую борьбу, так что слишком часто интеллектуалы оказываются противниками анализа новых социальных фактов.

Совокупность таких наблюдений ведет к заключению, что современная ситуация в западных индустриализованных обществах благоприятна для формирования оппозиционных течений и даже для их преобразования в группы давления, но момент их превращения в [167] общественные движения еще не наступил. Вот почему мы часто наблюдаем связанное друг с другом присутствие сильно институционализированных сил, выдвигающих требования и не поддающихся переговорам «страстных» остатков, но эти взаимосвязанные силы не могут сами питать общественное движение. И наоборот, кажется затруднительным, чтобы недовольство преобразовалось в бунты, а последние — в революционные движения в странах, где велика политическая открытость. Это можно видеть в Германии на примере пацифистского движения, которое в одно и то же время основывается на воле к радикальному политическому разрыву и участвует в политической жизни,

является силой обновления и расширения демократии. Никакая из современных форм борьбы не может быть обозначена как главный конфликт, вокруг которого могли бы объединиться все другие. Политическая экология не имеет более общего значения, чем движение женщин, и это последнее не проявило способности стать общим движением, мобилизующим как мужчин, так и женщин. Но трудно примириться с мыслью, что современные формы борьбы могут, оставаясь разделенными, только вступать в союз друг с другом. Пример шестидесятых годов заставляет, наоборот, думать, что объединение форм борьбы может осуществиться только посредством установления все более существенных связей между социальной борьбой и культурным движением. Это объясняется тем, что в постиндустриальном обществе целью деятельности как правящего слоя, так и оппозиционных движений становится управление способностью общества воздействовать на поведение своих членов, на их потребности и представления. Объединение или интеграция форм борьбы в общем общественном движении требует для своего осуществления усиления морального измерения, их воли понять и непосредственно утвердить права субъекта. Рабочее профсоюзное действие было, по существу, инструментальным. Оно было направлено против своих противников в целях одновременного освобождения производительных сил и самих трудящихся от препятствий, которые им ставил капитализм. Рабочее движение действовало для будущего, для воспеваемого им завтрашнего дня, для того, что Маркс назвал концом предыстории человечества. Зато сегодняшние общественные движения хотят жить уже теперь в соответствии с имеющимся у них образом социальной жизни. Наглядный пример перехода от одной формы действия к другой дала большая народная демонстрация 13 мая 1968 года в Париже. В тот момент, когда партии левой и профсоюзные организации взяли [168] на себя ответственность за студенческое восстание, она толковалась как традиционная народная и рабочая демонстрация. Огромное шествие в миллион человек пересекло город с севера на юг. Но там, где закончилось это шествие, на площади Данфер-Рошера самые активные элементы студенческого восстания и в особенности их самый популярный лидер Даниэль Кон-Бендит призвали демонстрантов не сворачивать свои плакаты и не возвращаться, а собраться на Марсовом Поле, где состоялось большое sit-in (сидение — М. Г.), живой опыт того сообщества, к которому они стремились. Переход вытянутого в одну линию шествия в выстроенное по кругу собрание хорошо знаменует переход от инструментального прежде всего действия к движению экспрессивному и служащему примером. Именно в этом плане движение женщин в его строгом смысле очень четко занимает центральную позицию. Если феминизм принадлежит еще к движению за гражданские права, понимаемому в духе Просвещения, и стремится предоставить женщине равные с мужчинами права, уничтожая разного рода дискриминации и запреты, то движение женщин не доверяет такому равенству, в котором оно видит риск зависимости от мира мужчин. Движение женщин порывает с противоречиями эгалитаризма, которое в конечном счете ведет к неприятию отличий и специфичности положения женщин. Оно склоняется к более или менее гомосексуальному женскому сообществу, но имеет также в виду превратить эту добровольную закрытость в средство создания таких отношений между субъектами, в которых бы ни один из партнеров не диктовал другому смысл его поведения. Чем глубже формы новой социальной борьбы проникают в область культуры и личности, тем более они увеличивают шансы интеграции различных форм борьбы в общее социальное движение. Но чтобы быть успешной, такая интеграция нуждается в конфронтации с внешними силами сопротивления или репрессии. В целиком «открытом» обществе интеграция разных форм борьбы не могла бы развиваться полностью. Упомянутое сопротивление исходит особенно от государства, которое противопоставляет автономии социаль-

ных отношений настоятельные требования международной конкуренции. Конфликт между государством и обществом в период кризиса может только усиливаться.

### Между культурой и политикой

Новые общественные движения более прямо, чем это делали предыдущие движения, ставят под вопрос ценности культуры и [169] общества. В итоге они непосредственно основываются не только на социальных, но и на интеллектуальных и этических убеждениях. В то же время условия их действия все более прямо зависят от государственного вмешательства. Таким образом, они вынуждены постоянно разрываться между этикой долга, все более удаляющейся от конкретной исторической реальности, и логикой эффективности, которая заставляет их подчиниться влиянию политических сил. Тенденция к расколу оказывается тем более велика, чем более сильное влияние имеет государство на гражданскую жизнь. Напротив, когда политическая система обеспечивает более независимое и действенное посредничество между социальными силами и государством, общественные движения могут легче контролировать отношения между убеждением и действием. Вот почему политическая открытость социал-демократических стран ведет не к исчерпанию значения общественных движений, а благоприятствует, напротив, их интеграции и, значит, увеличению их эффективности.

Но сегодня более важными, чем результаты, определяемые природой новых общественных движений, являются итоги исторической конъюнктуры, которая колеблется между прошлым и будущим. Почти все новые действующие лица, которые формировались особенно с 1968 года, хотя и выражали новые требования, идеи, чувства, но они их трактовали в старых терминах. Антиядерное движение, большинство форм региональной борьбы и особенно движение женщин испытали сильное влияние гошистской идеологии, которая видела в них проявление новых фронтов антикапиталистической борьбы, оставшейся для нее осью всех конфликтов. Это влияние было столь глубоким, что в момент, когда оказалась исчерпанной гошистская деятельность — во Франции это произошло начиная с 1974–1976 годов — многие обозреватели поторопились похоронить новые общественные движения, которые они отождествляли с их гошистским перевоплощением. Не случилось ли подобное, но гораздо более трагическое злоключение в только что зародившемся рабочем движении? Действительно, кризис и падение Второй Республики с 1848 по 1851 год заставили думать, что синдикализм мертв. Но десятилетием позже ему суждено было возродиться в очень отличной от прежней форме.

Не нормально ли, что только формирующееся действующее лицо оказывается поначалу подчинено более развитой силе: политической партии, идеологии, даже социальным действиям государства? Наблюдатели современной действительности могут заключить, что [170] не видно больше общественных движений, соответствующих их клише, особенно во Франции, где социальная жизнь сплюснута одновременно в результате экономического кризиса и в силу разложения старых идеологий, которые сохраняются только в официальных речах. Скрытую жизнь требований и протестов нового типа нужно, странным образом, искать на стороне частной жизни, в областях наименее политических, вроде песен, или еще в маленьких группах интеллектуалов.

Лучше всего общественные движения проявляются в этих мучительных колебаниях между прошлым и будущим, в форме призыва к субъекту, характеризующего скорее своей творческой способностью, чем своими творениями, своими убеждениями, чем достигнутыми результатами. Все большие общественные движения в период своего формирования извлекали свою способность к сопротивлению и свои надежды из моральной требовательности, которая толкала их активизи-



стов, с одной стороны, отвергать испытываемую несправедливость, и с другой, не допускать сделок с совестью, которые стремились им навязать мудрые советчики. О неотвратимой силе поворота к частной сфере нам напоминают каждый день. Но не нужно ли в этом феномене видеть также отход от старых идеологий и форм действия и в то же время кризис, ощущаемый в обществе без цели, без действующих лиц и без перспективы? То есть, если не присутствие общественных движений, то, по крайней мере, страдание из-за их отсутствия и желание их возврата?

### **Риск декаданса**

После того как были рассмотрены шансы на формирование нового общественного движения, нужно спросить себя, не представляет ли существенную помеху для такого формирования современная ситуация в странах Западной Европы? Уже несколько раз затрагивавшаяся тема об утрате гегемонии этими странами может вести к пессимистическим размышлениям. Изучение зависимых стран показывает, что их дуализация, их дезорганизация не является только экономической и затрагивает сами общественные движения. В таких странах, с одной стороны, проявляется воля к разрыву с господством иностранного происхождения, которая ведет скорее к партизанской войне, чем к массовому действию. С другой, утверждается идентичность, которая принимает форму национальных или этнических движений и ведет то ли к автономным, то ли к гетерономным [171] коммунитарным действиям. Кажется маловероятным, что когда-либо эти две компоненты смогут интегрироваться друг с другом и составить общественное движение. Может быть, и западные страны в условиях падения их мирового влияния ощущают подобный же раскол? С одной стороны, появляются коммунитарные движения, главными представителями которых могли бы служить экологистские течения; они могут замкнуться в некоей маргинальности или, наоборот, прийти к открытому столкновению с господствующим порядком; с другой стороны, усиливаются свидетельства абсолютного, манипулирующего и отчуждающего порядка. Кажется, что отделение теории и практики, мысли и живого постоянно дезорганизует общественные движения в Северной Америке и в Западной Европе. Но между тем, если риск раскола существует, он остается ограниченным, так как западные индустриализованные общества, хотя и потеряли мировую гегемонию, остались все же господствующими и привилегированными обществами, так что они сохраняют внутреннюю автономную динамику перед лицом государства, занятого борьбой за выживание или за национальное освобождение.

### **Заключение**

Борьба, которая заполняла шестидесятые и семидесятые годы, не может быть полностью и непосредственно отождествлена с новым общественным движением. В лучшем случае, она составляла его первое проявление, столь сильно связанное с определенной исторической и идеологической конъюнктурой, что двойной кризис, поразивший рост и гошизм, привел к его упадку. Подобное историческое заключение не ставит под вопрос главное в идеях конца шестидесятых годов. Правда то, что кризис сменил экспансию, место совокупности культурных инноваций и социальной борьбы заняла смесь из форм поведения, продиктованных кризисом и социальной борьбой, но можно продолжать думать, что в каждой из этих следующих друг за другом конъюнктур продолжается долгая работа создания новых общественных движений. Прошлый век знал подобные же перерывы в истории рабочего движения. Первая фаза, на которой преобладали социальный эксперимент и утопия, была сменена другой, с преобладанием вмешательства политических сил и даже с развитием государственного социализма. Лишь вслед за этим

утвердилось в своей социальной реальности рабочее движение. Так и сегодня, после спада борьбы и дезорганизации конфликтов, кажется, должно начаться в [172] недалеком будущем в силу трех благоприятных факторов созревание общественного движения. Прежде всего, речь — об усилении конфликтов между движениями, борющимися за свои права, и политической системой. Легко принятые в ходе прошлых десятилетий социальные и культурные реформы имеют все шансы столкнуться с усилившимся сопротивлением от имени молчаливого большинства. Соединенные Штаты, Великобритания, затем Германия дали примеры этого консервативного ужесточения. Невозможно думать, что в переживаемой ситуации наши общества могут остаться терпимыми перед лицом усиливающихся требований и протестов. Во-вторых, речь может идти о созревании правящего класса и в особенности о его утверждении перед лицом государства. В период исторической мутации роль государства неизбежно будет преобладающей. Это происходит в начале всех исторических этапов, а значит, и в начале постиндустриализации. Но чем более устанавливается новый тип общества, тем более его внутренние социальные отношения, в особенности характеризующие его классовые отношения, имеют тенденцию усиливаться. Наконец, интеллектуалы начинают скорее анализировать настоящее, чем вновь и вновь интерпретировать прошлое.

В целом, формирование постиндустриального общества достаточно продвинулось для того, чтобы восприятие и изучение новых действующих лиц и их конфликтов способствовало в свою очередь развитию общества нового типа. Поистине, над большей частью социологии довлеет унаследованная от XIX века идея, что общество является системой, механической или органической, имеющей собственные законы, так что роль социологического анализа включала бы уничтожение иллюзии о действующем лице. Такой подход априори исключает существование общественных движений. Но становится все более необходимым защищать другую социологию, придающую, наоборот, центральную роль идее общественного движения и созидающую новую профессиональную практику, стремящуюся понять действующее лицо вместе с его самосознанием. Такая социология, для которой люди сами делают свою историю, зная, что они ее делают, будучи в то же время замкнуты в круг идеологий. Необходимо, чтобы развились новые способы исследований, которые позволили бы взглянуть в лицо социальному действию, изучить действующих лиц не только по их поступкам, но и соответственно их пониманию этих поступков, выделить помимо поведений ответа на существующий социальный порядок поведения, посредством которых создается, преодолевая конфликты, общество. [173] Создание новых общественных движений и трансформация социологического анализа неотделимы друг от друга.

## **Общественные движения, революция и демократия**

### **Идея прогресса**

Издавна в западной традиции не отделялись друг от друга общественные движения, демократия и революция. Понятия социального движения, если подчеркивать термин «социальное», фактически не существовало: движения определялись как политические, и с другой стороны, не предполагалось различия между революцией и демократией. Содержание революции сводилось к разрушению Старого Режима, привилегий или иностранного государства; демократия считалась политическим выражением идеи Прогресса и триумфа Разума. Несмотря на свои аристократические черты, Американская революция казалась по своей природе демократической. Точно так же Боливар считал себя слугой универсальных ценностей во все время своих военных кампаний и усилий создать объединенную

Латинскую Америку. Зато во время Французской революции все три идеи объединялись менее четко. 1789 год оставался символом демократии, якобинский период считался революционным, а санкюлоты или еще больше «голые руки» воспринимались как общественные движения, которые могли и защитить политическую революцию, и привести ее к опасности.

Была создана очень сильная традиция, согласно которой вышеупомянутые понятия не могли быть отделены друг от друга, будучи тремя аспектами одного общего принципа — Прогресса.

Между тем, единство этих трех лиц Прогресса не продержалось много дольше, чем низвержение Старого Режима и колониального господства. Само понятие Прогресса, будучи принято очень разными социальными и политическими силами, также оказалось переинтерпретированным самыми разными способами. Капиталисты были больше заинтересованы в свободном предпринимательстве, чем в общественных свободах, и в политической свободе больше, чем в свободе организации общественных движений. Демократия часто сводилась к манере организовывать ограниченную политическую систему, а общественные движения, со своей стороны, широко отождествлялись с идеей революции и теми социальными силами, которые были исключены из политической системы. [:174]

Если говорить в планетарном масштабе, то демократия слилась с образом господствующих стран, тогда как остальной мир мог выбирать только между зависимым участием — с помощью недемократических средств — и ожесточенной борьбой за свою независимость и развитие. Таким образом, единство трех понятий было быстро нарушено и заменено двумя оппозиционными альянсами: с одной стороны, между общественными движениями и революцией, с другой, между демократией и буржуазией. Но раз разрушен старый социальный порядок, начало организовываться индустриальное общество, центральный конфликт которого скоро стал более важен, чем противоположность между традицией и современностью.

### **От прогресса к индустриальному конфликту**

Первым и самым важным аспектом этого распада прогрессистской идеи, в которой объединялись революция, демократия и общественные движения, является формирование рабочего движения. По крайней мере это так, если мы даем точное определение понятию рабочего движения, которое не может быть отождествлено ни с профсоюзным движением, взятым во всех его аспектах, ни, еще менее, с индустриальными отношениями. Когда профсоюзное движение берется как форма действия, организованного ввиду достижения определенных целей — такое определение соответствует так называемому рыночному или еще коммерческому синдикализму — оно не является ни демократическим, ни революционным, как не является таковым продавец какого-либо другого товара. Но этот тип синдикализма скоро потерял свое значение, что происходило по мере того как рынок труда испытывал все большее влияние одновременно со стороны самих синдикатов, со стороны стратегий олигополии и со стороны вмешательства государства. Именно тогда приобрел преобладающее влияние другой тип профсоюзного действия, влияющего на формирование экономической и социальной политики. Чарльз Тилли и Эдвард Шортер (C. Tilly, E. Shorter. *Strikes in France, 1830–1968*. Cambridge University Press, 1974), анализируя причины частоты забастовок во Франции, придают центральное значение изменениям, происшедшим в политическом влиянии синдикатов. Таково же главное заключение Колина Крауча и Алессандра Пиццорно (C. Crouch, A. Pizzorno (sous la dir. de). *The Resurgence of Class Conflict in Western Europe since 1968*. Londre, Macmillan, 1978) в их книге о европейском синдикализме. Но как не вспомнить, что законы о труде [:175] и коллективные

соглашения были результатом сильного, часто революционного давления, исходившего извне политической системы? Это давление и этот протест создают то, что мы называем рабочим движением. Существенным здесь является то, что это движение не может больше определяться в терминах участия или исключения из политической системы, а только в терминах собственно социального конфликта и, в особенности, конфликта классов. Рабочее движение родилось из существовавшего на заводе прямого конфликта в отношении условий труда между предпринимателями и наемными рабочими. Точнее, этот конфликт был непосредственно связан с разрушением профессиональной автономии рабочего вследствие рационализации, самым конкретным выражением которой является система оплаты в соответствии с выработкой.

Своего самого большого развития рабочее движение достигло в условиях серийного производства, где квалифицированный производительный труд был заменен неквалифицированным или полуквалифицированным трудом. До этой центральной фазы эволюции труда рабочие были более автономны и, следовательно, они определяли и защищали свои интересы скорее на рынке труда, чем на предприятии, путем переговоров или насильственным образом. После этой центральной фазы трудящиеся оказались включены в большие организации, так что они не могут больше противопоставить свою квалификацию и автономию организации труда и вынуждены поэтому протестовать против иерархизованной организации того, что Макс Вебер называл *Herrschaftsverband* (организацией со структурой господства).

Кажется соблазнительным придерживаться мнения, что рабочее движение в качестве агента структурного конфликта относительно социального употребления технологических ресурсов является по природе революционным, потому что оно включено в центральный конфликт с руководством предприятий и необходимо порождает идеологию, чуждую руководству предприятий и капиталистам. Таким образом, первый уровень профсоюзного действия (экономический) мог бы считаться автономным, тогда как его политический уровень определялся бы демократическими ценностями, а прямой классовый конфликт был бы ориентирован революционной идеологией. Эта концепция была широко принята, главные дискуссии велись насчет относительной важности каждого из названных уровней. Но она должна быть отброшена. Наш анализ рабочего движения сосредоточен на конкретных трудовых отношениях, на уничтожении контроля [176] рабочих на их собственном производстве, что является собственно социальным, а не политическим определением рабочего движения. Его политическая ориентация определяется не столько его природой, сколько его окружением. Если его протест легко принимается и обсуждается политическими институтами, он может принять реформистскую или демократическую форму. Напротив, если политическая система закрытая и авторитарная, то социальные протесты, будучи отброшены, ориентируются против существующих политических институтов и становятся революционными. Очень убедительное доказательство этого типа связи дал во многих местах и еще недавно в президентском послании Американской Ассоциации Политической Науки С. М. Липсет. Рабочее движение даже не способно предложить модель социальной и экономической трансформации. Оно зависит от конфликта и не может стать выше идеологического выражения этого конфликта. Оно требует, чтобы завод принадлежал рабочим, или требует самоуправления, но эти меры не составляют политической программы. Классовое рабочее движение принимает свое собственное подчинение политическому действию. Иногда оно подчиняется партиям среднего класса или даже консервативным партиям, в других случаях — популистским коалициям, наконец, в других — рабочим партиям, для которых характерно ленинское разделение между политическим действием и тред-

юнионизмом. Рабочее движение защищает трудящихся и критикует иррациональность, приписывая ее индустриальной системе, но чтобы добиться рационального использования технических ресурсов, оно должно обратиться к государству с целью уничтожения власти капиталистов или ее ограничения. В большинстве случаев мыслится, что вмешательство государства будет прямым результатом мобилизации масс, открытого конфликта или даже всеобщей забастовки. Преобладающая роль политического действия была подтверждена революционными партиями, которые считали ограниченным экономическое действие. Для нашего анализа, напротив, значение рабочего движения состоит в том факте, что оно заявляет об автономии общественных движений перед лицом любых форм политического действия, будь оно демократическим или революционным. Это именно независимое и центральное общественное движение, но область его действия ограничена проблемами производства, так что оно само подчиняется политическому действию, чтобы изменить все общество.

Рабочее движение представляет первую, еще частичную попытку обеспечить автономию общественных движений. Оно отделяет [177] действие рабочих против руководства предприятий от антикапиталистической политической программы. Первый элемент присутствует во всех странах на определенной стадии развития промышленного производства. Второй, напротив, появляется только в определенных экономических и политических условиях. Первый элемент представлен сегодня на польских или бразильских предприятиях так же, как это было в Детройте или в Бийанкуре в тридцатые годы. Зато каждый тип режима, капиталистический или социалистический, рождает особые политические ориентации, которые накладываются на рабочее движение в собственном смысле, каковое во всех странах борется с руководством предприятий.

Тогда как прежние общественные движения, начиная с крестьянских восстаний XVII века и вплоть до движений ремесленников и квартиронанимателей с XIV до XX веков, были непосредственно политическими, давили на государство с требованием контролировать цены на продукты и регулировать самый низкий уровень заработной платы, рабочее движение является более социальным, чем политическим, даже если оно поддерживает связи с политическим действием, которому оно само подчиняется. Автономия рабочего движения в качестве социального тем более велика, чем сильнее классовое сознание. Напротив, политическая революционная ориентация движения преобладает там, где экономические и политические условия давят больше, чем плохие условия труда.

Дистанция между рабочим движением и демократией увеличивается в двух различных политических ситуациях. С одной стороны, в некоторых европейских странах вроде Франции, где политическая и идеологическая мобилизация «прогрессистского» среднего класса более важна, чем автономное действие синдикатов. В таких странах одна фракция общественных движений непосредственно подчинилась политическим партиям, тогда как другая, не желая включаться во внутренние конфликты буржуазии, становилась антипарламентарной как справа, так и слева. Другая ситуация складывается в странах, где политическая система, наделенная сильной способностью интеграции и кооптации, не была организована в соответствии с классовым расслоением, как, например, в Колумбии или в Мексике. Эти политические системы не столько боролись с организованными общественными движениями, сколько отказывали в поддержке или отбрасывали за пределы политической системы широкие слои населения, используя методы сегрегации или даже насильственного удаления. Такие капиталистические системы функционировали с очень низкой степенью [178] политического участия и комбинировали политическую кооптацию средних классов и антинародное насилие государства. Обоим этим типам государств противостоят страны, где главные

партии организовывались в соответствии с классовым делением и где политическая система оставалась открытой. В этих странах дистанция между демократическими институтами и общественными движениями была более ограниченной, как, например, в Англии, на протяжении долгих периодов в Германии или еще в Чили и в Аргентине.

К тому отделению между общественными движениями и демократическими институтами, которое ввело рабочее движение в XIX веке, XX век добавил растущую дистанцию между общественными движениями и революцией и четкое разделение между демократией и революцией на мировом уровне. Революционные движения становятся все менее и менее антикапиталистическими и все более антиимпериалистическими и антиколониалистскими. Такая трансформация привела к перемещению революционных движений из индустриальных стран к странам неиндустриальным, из центральных стран к странам периферийным. Эта трансформация была очень ощутима после Советской революции, но еще более важные последствия она произвела после Второй Мировой войны, что произошло вследствие растущей роли мультинациональных предприятий, драматических результатов колониальных войн в Азии и в Африке и прямого вмешательства великих держав в политическую жизнь многочисленных стран Третьего Мира.

Напротив, демократические режимы преуспели в институционализации индустриальных конфликтов, между тем как в странах с авторитарным режимом требования должны были принять революционную форму. Таким образом, идеи демократии и революции все более соответствовали разным регионам мира. Значит, в ходе XIX и большей части XX веков наблюдаем постепенное разделение трех понятий, которые поначалу были слиты друг с другом. Они больше не объединяются в эволюционистском видении общественной жизни. Общественные движения, демократия и революция представляют теперь реальности и регионы не только различные, но часто противоположные друг другу.

### **Левые интеллектуалы**

Интеллектуалы принимали широкое участие в этом разложении прогрессистских идеологий, вскормленных философией Просвещения [179] и французской и американской революциями. Некоторые из них сблизилась с общественными движениями, но эта тенденция была ограниченной, ибо такие движения часто были антиинтеллектуалистскими, в особенности, когда они были популистскими.

Более многочисленны были интеллектуалы, которые сделали идеологами демократических институтов и отождествили их с общими принципами, скорее чем социальными силами или со специфическими социальными проблемами. Меньшая, но более влиятельная группа интеллектуалов отождествила себя с идеей революции. Интеллектуалы, конечно, чувствовали себя удобно с той теорией, которая при анализе системы господства делала вывод о невозможности внутренних изменений и о необходимости противопоставить естественные законы эволюции организованному сопротивлению людей, преследующих свои корыстные интересы. Они думают, что революция должна дать власть науке и ученым в их борьбе с капиталистами. Роль революционных интеллектуалов была особенно велика в коммунистическом движении, но они были также среди западных анархистов или русских нигилистов.

Но самое важное заключается в том, что часть интеллектуалов в западном мире вместо того, чтобы присоединиться к общественным движениям, либо к демократии, либо к революции, стремились противодействовать растущему их отделению и их объединить, не только практически и политически, но и идеологически. Они объединяли эти три темы в одной фразе: общественные движения усиливают и расширяют область демократических институтов с помощью своего ре-

волюционного действия. Чем более демократические институты, движения национального освобождения и синдикализм удалены друг от друга, тем более интеллектуалы твердят об их единстве. Больше века они с возрастающей силой утверждали, что классовая борьба, движения национального освобождения и движения культурной модификации являются только разными аспектами одного и того же общего конфликта между будущим и прошлым, между жизнью и смертью. Начиная с конца XIX века и до середины 1970 годов с большей или меньшей силой в зависимости от стран и периодов развивалась идеология (или, точнее, миф), имеющая в виду объединить между собой все более разделяющиеся и даже вступающие в конфликт силы.

Иногда это осуществлялось в рамках реформизма: фабианцы, особенно С. и Б. Вебб, ввели идею индустриальной демократии, которая затем использовалась во все более ограниченном контексте для описания развития коллективных переговоров. В других странах [ :180 ] и в другие периоды она наполнялась более радикальным содержанием. В этом центральную роль сыграли французские интеллектуалы, а также некоторые интеллектуалы Третьего Мира. От Анатоля Франса до Андре Жида, от Андре Мальро до Жана-Поля Сартра многие французские интеллектуалы считали, что социалистические или коммунистические революционные режимы, а затем националистические режимы Третьего Мира прорвали и трансформировали слишком ограниченную, слишком буржуазную до сих пор демократию. Можно сослаться на множество интерпретаций этого феномена, в рамках которого столько интеллектуалов, стремясь отыскать единство всех сил и форм политической и социальной трансформации, пришли к поддержке режимов, очень далеких от всех демократических принципов.

Между тем, существенное заключается не в ослеплении некоторого числа интеллектуалов, оно заключается, напротив, в существовании автономного течения левых интеллектуалов, четко отмежевывающихся от революционных интеллектуалов и озабоченных защитой общественных свобод в их собственной стране. Представители авторитарных постреволюционных режимов часто нападали на них, видя в них буржуазных интеллектуалов. Эти левые интеллектуалы действовали против растущего отделения общественных движений, демократии и революции. На первом этапе они поддерживали новый союз между демократией и общественными движениями, как это было в случае либеральных интеллектуалов — сторонников Рузвельта в Соединенных Штатах, или в случае французских интеллектуалов, которые играли главную роль в подготовке Народного Фронта.

После Второй Мировой войны, когда холодная война и экономический рост усилили на Западе правые правительства, новые поколения интеллектуалов, чувствительных к критике сталинизма и расположенных в пользу польского Октября и Венгерской революции, а позже к Пражской весне, увидят в освободительных движениях Третьего Мира новое выражение народных и революционных сил, с которыми должны идти либеральные интеллектуалы Запада, чтобы бороться против антидемократических, империалистских и расистских сил в их собственных странах. Сегодня все более слышна критика в адрес таких левых интеллектуалов, обвиняемых в политической слепоте или даже в непорядочности. Такое суждение неприемлемо, поскольку оно объединяет две совершенно противоположные позиции. С одной стороны, действительно, некоторые интеллектуалы сблизились с революционными движениями, которые [ :181 ] казались антибюрократическими и антиавторитарными. Они противостояли сталинизму от имени Троцкого или Мао и «подлинной» социалистической революции. Например, они могли поддерживать китайскую культурную революцию, причем, в терминах, которые факты скоро опровергли. В странах Запада такие интеллектуалы создавали или пересоздавали доктринерскую «Новую старую левую», которая очень часто вскоре оказы-

валась в противоречии с новыми общественными или культурными движениями. Не будучи сильны во Франции, эти революционные «фундаменталисты» были такими скорее в Соединенных Штатах и особенно в Японии, Германии и Италии.

С другой стороны, отношение к национальным и общественным движениям Третьего Мира было для определенной группы левых интеллектуалов средством открытия и поддержки новых общественных движений, которые формировались в их собственных странах. Эта тенденция особенно ощущалась в Соединенных Штатах и во Франции в конце шестидесятых годов. Она стала господствующей почти во всех странах во время 70-х годов. Эта новая левая становилась все более антиреволюционной и либертарной, она противилась сближению общественных движений с государственной властью. Она заявляла о необходимости сделать политические институты более представительными, открыв их для новых протестов и требований.

Три типа интеллектуалов — ленинцы, революционные популисты и либертарианцы — иногда объединяли их силы, в особенности во время французской войны в Алжире и американской войны во Вьетнаме, или еще в момент больших возмущений во Франции и Соединенных Штатах, особенно в 1968 году. Но в то же время эти группы всегда оставались далеки друг от друга. Во Франции именно личность Жана-Поля Сартра более чем любой другой фактор способствовала поддержанию некоторого единства между расходящимися тенденциями. Он поддерживал Майское движение 1968 года, как он поддерживал все антиколониальные кампании. Он становится затем покровителем маоистской Пролетарской левой, однако никогда не переставая определять самого себя как мелкого буржуа, что свидетельствовало о его воле защищать западные демократические свободы. Толпа, которая после его смерти сопровождала его на кладбище, уже сознавала, что без него будет невозможно поддерживать единство действий и идей, по-видимому, становящихся все очевиднее противоречащими друг другу.

Несколькими годами ранее некоторые интеллектуалы, стоящие вне этих трех групп, были убеждены в невозможности интегрировать столь [182] четко расходящиеся социальные и политические силы. Но они пытались поддерживать единство общественных движений, демократии и революции не позитивно и утвердительно, как Сартр, а негативно и чисто критически. Они объявляли, что все общества, как либеральные, так и постреволюционные, находились в руках абсолютной власти и что все аспекты социальной и культурной организации должны рассматриваться как знаки логики абсолютного господства. В результате демократия оказывалась ложью, народные движения становились невозможны, а революция оказывалась ничем иным, как разрушением народных движений. С этой точки зрения, все такие режимы взывали к одному и тому же восстанию, к одному и тому же отказу от системы господства, отчуждения и манипуляции.

Эта концепция, отрицающая всякую связь с социальным действием или организованной политикой, стала в некоторых странах специфической идеологией разочаровавшихся революционных интеллектуалов. Во Франции такой абсолютный детерминизм привел к выводу, что все формы организованных коллективных действий были иллюзорны, лишены смысла и даже опасны. Эта идея после поражения Майского движения 1968 года завоевала преобладающее влияние. Многие интеллектуалы приняли альтюсеровскую концепцию, согласно которой марксизм должен быть прочитан как научное открытие внутренних механизмов тотального господства, которое простирается от области производства до всей совокупности областей общественной жизни.

В Латинской Америке в ту же эпоху такая же концепция привела революционных интеллектуалов к разрыву с классовой борьбой и массовыми движениями, к тому, что они доверяли только партизанской войне в деле разрушения системы



экономического и политического господства, единственная сила которых состояла, с их точки зрения, в поддержке их со стороны американского империализма. В Венесуэле, в Перу, в какой-то мере в Уругвае (*les Tupamaros*)<sup>1</sup> эти партизаны действовали в соответствии с идеями блестящего и храброго ученика Альтюсера Режи Дебрэ.

Но, как и в индустриальных странах, в Латинской Америке различные движения все более отдалялись друг от друга. В Западной Европе и в Соединенных Штатах революционные интеллектуалы очень быстро отдалялись от «новых радикалов», связанных с новыми [ :183 ] культурными и общественными движениями, тогда как чисто критические интеллектуалы традиции Маркузе рассуждали о невозможности общественных движений и революционных изменений. В Латинской Америке после поражения партизан и смерти Че Гевары некоторые группы революционеров от Никарагуа до Перу и короткий период в Аргентине отдавали приоритет вооруженной борьбе, тогда как другие группы, либерал-реформистские или находящиеся под влиянием христианства, организовывали антиавторитарные базовые коммунитарные движения.

Этими разделениями отмечен конец движения, интеллектуальное и политическое влияние которого было значительным, иногда господствующим на протяжении всего века.

Его идеологическое поражение наступило вслед за практическим и политическим разделением понятий, которые были объединены философией Просвещения и Американской и Французской революциями. Это поражение ознаменовало конец объединительных попыток и окончательное разделение трех понятий, до того слитых друг с другом.

### Конец революций

Самым непосредственным результатом разделения левых интеллектуалов в последней четверти XX века является закат революционных идеологий. Эра революций подошла к концу. Может быть, просто потому, что старые режимы свергнуты почти повсюду и что в основном народы чаще страдают от авторитарных модернизаторских режимов, чем от традиционной консервативной элиты. Уже в начале XX века Мексиканская революция была реакцией средних классов, крестьян и рабочих не против традиционных собственников, но во многом против ускоренного развития аграрного и промышленного капитализма, которым управляли иностранные финансовые группы и «*científicos*» («научные» — М. Г.) с их позитивистской и модернизаторской идеологией. В Иране дело обстоит иначе, там шиитское правительство Хомейни положило конец не традиционной власти, а «белой» революции, направляемой Пахлеви и иностранным капиталом. В Польше «Солидарность», это национальное, демократическое и общественное движение, боролась с господством коммунистической партии, которая сама себя определяла как агента модернизации и которая разрушила то, что в какой-то мере было старым режимом. [ :184 ]

Также теперь и в западных странах главные движения протеста направлены скорее против избытка трансформации и волюнтаризма, чем против отсутствия перемен. Революционная и прогрессистская идеология противопоставляла открытое «общество» закрытой «общности», общие установления государства партикуляристским интересам и ценностям собственников и священников. Теперь концентрация власти так велика, экономическое господство, политическая власть и культурное влияние так часто сосредоточены в одних руках (это происходит в обществах, где государственные инвестиции играют центральную роль и где цен-

---

<sup>1</sup> *Tupamaros* — движение национального освобождения Уругвая.

трализованный контроль информации и коммуникации более важен, чем владение заводами со стороны монополий), что движения протеста направлены прежде всего против такой концентрации. Вопреки долгой традиции, они отбрасывают идею революции, потому что последняя открывает дорогу усилению государственной власти. Они не контрреволюционны, а антиреволюционны в том же смысле, что и испанское сопротивление наполеоновской армии, размахивавшей знаменем Французской революции, или в смысле действий чешских рабочих, которые противостояли армии, покрывшей свои танки знаменем революционного рабочего движения.

В интеллектуальном плане реакция против превращения общественных движений в авторитарные государства провоцировала трудное возвращение либеральной идеологии. Франция — это страна, где по причине самого сильного влияния левых интеллектуалов преобразование интеллектуальной жизни было самым резким. Раймон Арон прожил достаточно долго, чтобы убедиться, что в конечном счете его защита демократических институтов и его атаки в адрес «опиума интеллектуалов» были приняты как левой, так и правой, а революционная идеология, с которой он сражался, отброшена подавляющим большинством, включая учеников Сартра.

Ощутимая перемена заключается в том, что вновь признаны социальной мыслью важность и автономия политических категорий и, прежде всего, демократии.

Долгое время демократические институты критиковали от имени «реальной» демократии и социальной справедливости. Теперь, наконец, вновь придают большое значение законным и институциональным механизмам представления и просто свободному выражению интересов, идей и протестов. Возросшее число западных интеллектуалов анализирует опасности превращения народных движений в авторитарные режимы, тогда как прежде более заботились о [185] том, чтобы говорить от имени социальных действующих лиц, отброшенных за пределы политической системы.

Кажется правильным, что идея демократии сегодня восторжествовала в западном мире, тогда как понятия демократии, общественного движения и революции исчезли все три из коммунистического мира и находятся в кризисе в Третьем Мире. Бразильцы, аргентинцы, уругвайцы и чилийцы после долгих лет жизни в условиях диктатуры договорились считать своей первой целью скорее демократию, чем революцию.

Параллельно этому историки отказываются от традиционной идеи, согласно которой общественные движения являются только подготовительным этапом революции. Французские историки оспаривают мысль о существовании якобы непрерывности от 1789 к 1794 годам (Fracois Furet. *Penser la Revolution française*. Gallimard, 1978), а другие историки доказывают, что профсоюзное движение в России в начале XX века вовсе не было подготовительным этапом большевистской революции (Victoria Bonnel. *Roots of Rebellion*. University of California Press, 1983).

### **Общественные движения и демократия**

Предположим, что идея об окончании эры революций, которая была открыта Американской и Французской революциями и затем продолжена и расширена Советской революцией, уже принята. Предположим также, что еще легче признать существование кризиса сциентистского и эволюционистского способа мышления, на котором основывались деятельность и сознание революционных движений. Но обязаны ли мы на этом основании заключить, что упадок революционной модели ведет только к триумфу противоположной политической модели, а именно, демократической? Или нужно вернуться к нашему главному наблюдению относительно

но рабочего движения и принять гипотезу о том, что мы входим в такой период и в такой тип общества, в котором общественные движения оказываются все более автономны по отношению к политическому выражению, так что упадок революционной модели должен бы привести к столь же центральной роли общественных движений, как и институциональных систем? Нужно, однако, признать, что сегодня в западном мире антиреволюционная позиция так сильна, что всякое упоминание об общественных движениях воспринимается как косвенный и смутный способ спасти некоторые аспекты находящейся в упадке [186] революционной идеи. Сама идея, что политическое действие «представляет» социальные группы, кажется слишком связанной с идеологией «реальной» демократии, противоположной буржуазной демократии. Напротив, многие аналитики настаивают на автономии политических институтов и равновесии властей, даже когда они критикуют негативные последствия избытка автономии, коей наделены механизмы отбора политических руководителей.

Несмотря на силу этого интеллектуального течения, представители которого подчеркивают центральную роль демократии и отбрасывают понятие общественного движения и понятие революции, мы пытаемся отстаивать противоположную точку зрения, выделять границы «чисто» демократической концепции и, напротив, проводить идею, что общественные движения занимают центральное место и являются фундаментальным условием демократической политической жизни.

Сегодня большой риск не признавать появление новых общественных движений, подобно тому, как в прошлом веке Республика или парламентарная монархия были неспособны признать формирование рабочего движения. Эти новые движения протеста родились еще дальше от политической системы, чем это было с рабочим движением, ибо они атакуют не разделение труда или формы экономической организации, их протест находится на более глубоком уровне культурных ценностей. Даже самые простые формы подобного протеста направлены не против социального употребления прогресса, а против самого прогресса. Иногда это происходит на неотрадиционалистский манер, но чаще всего подобная критика индустриальных ценностей демонстрирует стремление лиц, действующих в области культуры, удержать или вновь обрести контроль над своим собственным поведением, так же как некогда рабочие хотели сохранить контроль над условиями своего труда. Такие движения противостоят большим организациям, которые имеют способность производить, распространять и навязывать характер речей, информации и представления относительно природы, социального порядка, индивидуальной и коллективной жизни. Самый факт, что эти общественные движения сегодня слабы и их влияние более рассеянное, чем организованное, показывает сильную автономию упомянутых движений по отношению к политическим институтам и государству в тот самый момент, когда политическая жизнь все более организуется вокруг выбора экономической политики. Новые общественные движения рассматривают проблемы, которые [187] практически исключены из государственной жизни и считаются принадлежащими к частной жизни. Они касаются здоровья и сексуальности, информации и коммуникации, отношения к жизни и смерти. В настоящее время такие проблемы кажутся более далекими от государственной жизни, чем были проблемы труда в индустриальном обществе.

Самое общее выражение названные темы получают в женском движении, которое одновременно очень далеко от революционной модели. Помимо традиционной темы равенства, помимо даже разрыва со всеми формами мужского господства и призыва к специфической и автономной женской культуре, в женском движении присутствуют новые общие темы протеста. Традиционно выдвигались требования защиты производства в противовес воспроизводству, создания и изменения в противовес социальному контролю и социализации, то есть фактически

защиты «активных» ролей, идентифицируемых чаще всего с мужчинами, в противовес «воспроизводственным» ролям, идентифицируемых с женщинами. Теперешние движения протеста, борясь с растущей концентрацией власти и с проникновением аппаратов решения во все сферы социальной и культурной жизни, считают главной целью не завоевание и переустройство государства, а наоборот, защиту индивида, межличностных отношений, маленьких групп, меньшинств от центральной власти и особенно от государства. Женщины изменяют или стремятся изменить свой низкий статус и превратить частную культуру в силу сопротивления инструментальной и продуктивистской культуре.

Соотнесение с меньшинствами указывает уже, что общественные движения стремятся ограничить их отношения с политической системой. Когда идентифицируют общественное движение с защитой прав большинства, это означает идентификацию социального действия и политической борьбы. Наоборот, защита меньшинств означает стремление ограничить сферу политического влияния, отбросить идею, что все связано с политикой, защитить область хотя и публичную, но не политическую, что ведет к особой концепции общественного пространства (Öffentlichkeit), весьма отличной от той, которая существовала в прежних обществах.

Но недостаточно признать, что формируются эти новые общественные движения, автономные по отношению к партиям и политическим механизмам. Нужно также, и в первую очередь, признать, что сила демократических институтов основывается на их способности превращать социальные конфликты в институциональные[:188] правила, стало быть, на их представительности. Демократические институты завоевали силу там, где классовые конфликты индустриальной эпохи были сильны и признаны в качестве центрального элемента автономного в большой мере гражданского общества. Там, где общественные классы имели лишь ограниченную автономию, где государство, а не буржуазия было главным агентом индустриализации, где рабочий класс принадлежал к неукорененной городской массе, демократия оказалась ослабленной. Было бы слишком пессимистичным сказать, что демократия существует только там, где политическая власть ограничена. Такая ситуация может вести к господству местных автократов. Точно так же, недостаточно верить, что только благоприятные экономические обстоятельства могут поддержать демократические институты, ибо существование большого излишка для целей распределения никоим образом не обеспечивает большей доступности средств и результатов производства большинству населения.

Демократия должна быть прежде всего отождествлена с понятием представительства. Но последнее имеет два аспекта. Оно не предполагает только существование представительных институтов, но еще и представляемых социальных действующих лиц, то есть тех, кто уже определен, организован и способен действовать прежде, чем вступит в действие какой-либо из каналов политического представления. Если верно, что в некоторых странах, особенно в Азии, демократия традиционно слаба из-за существования автократических государств, то также верно, что в других странах, и особенно в Латинской Америке и в Африке, главная причина слабости демократии в нашем веке заключается в другом. А именно в том, что общественные действующие лица в них не только контролируются, но и созданы государством, как, например, профсоюзы в Мексике, в Бразилии и во время какого-то периода в Аргентине.

Западные демократии еще сильны, потому что они способны преобразовывать требования рабочего движения в социальные законы и в правила индустриальных отношений. Но в современный период они ослабевают, потому что теряют способность преобразовывать общественные движения в политические силы. По-

литические институты, когда они перестают быть представительными, перестают обеспечивать каналы и институциональные решения для социальных конфликтов, утрачивают их законность. Они превращаются в совокупность прагматических правил, каковые, как и судебные правила, используются более богатыми и лучше информированными [189] в собственных интересах. Серьезность современной ситуации заключается в том, что сейчас труднее, чем некогда, создавать представительную демократию и именно потому, что новые общественные движения являются непосредственно менее политическими, чем прежде.

### Заключение

Наступившие преобразования в отношениях между общественными движениями, демократией и революцией привели от единства этих трех сил внутри эволюционистского образа прогресса ко все более и более полному отделению гражданского общества с его общественными движениями от политической системы и от государства. Первым об автономии и центральной роли общественных движений заявило рабочее движение, хотя оно сохраняло свою собственную субординацию в отношении политического действия. Новые культурные и общественные движения создают гораздо большую дистанцию между социальным протестом и политическим действием. Во многих странах самыми настоятельными являются проблемы экономического развития и национальной независимости. В таких странах общественные движения оказываются все более в подчиненном положении или даже разрушаются, тогда как протесты, конфликты и инициативы организуются непосредственно вокруг завоевания государства или руководства им. Напротив, в других странах, например, в Западной Европе общественные и культурные движения доходят до полного отрицания государства, даже с риском содействовать невольно интересам иностранных государств, хотя они и осуждают эти государства сильнее, чем свое. Верно, что такое отделение гражданского общества и государства может привести к усилению роли политической системы и демократических институтов, которые служат посредниками между общественными движениями и государством. Но оно рискует также привести к изоляции политической системы как по отношению к общественным движениям, так и к государству, и превратить ее в простой политический рынок, который благоприятствует самым мощным группам давления.

Наиболее видимым последствием такой эволюции является то, что не перестает расти дистанция между общественными движениями и революционным действием. Революционный образ общественных движений в упадке. В то же время дистанция между демократией и [190] революцией стала такой большой, что оба понятия кажутся почти для всех противоречащими друг другу. Теперь редко думают, что революционное действие само по себе создает демократию, так как рожденные революциями режимы развиваются в противоположном демократии духе.

Только что изложенная концепция противостоит неолиберальной мысли, которая сегодня оказалась усиленной вследствие заката революционной модели. Можно даже думать, что в политическом споре будет все больше доминировать противоположность между теми, кто помогает новым общественным движениям обрести способ политического выражения, и теми, кто, напротив, соглашается с постепенным включением демократических институтов в аппарат государства, с подчинением их представительских функций защите национального государства, его международных интересов и его экономической политики.

Демократические институты кажутся в западном мире усилившимися в результате современного кризиса революционной модели и слабости общественных движений, вызванной экономическим кризисом и спадом стремлений. Но назван-

ные институты оказываются, в свою очередь, ослабленными, когда они не признают приоритета и автономии новых общественных движений и необходимости для них самих заново определиться в качестве представительных институтов и поддерживать свою независимость по отношению к государственному разуму.

## Пост-скрипtum

1. Мы исходим в своих рассуждениях из убеждения, что классическая социология, «социологическая традиция» хотела быть анализом современности в тот самый момент, когда Запад переживал последствия первой индустриальной революции. Она включала изумительную идею, которая позволяла сблизить до того разобщенные области исследования. Эволюционизм сменил циклическое представление о цивилизациях и об их естественной истории. Рациональность и эффективность, казалось, лучше определяли смысл современных обществ, чем сущность их институтов. Конфликты и противостояния анализировались скорее в рамках, свойственных современным обществам, а не в качестве результатов завоевания или внешней угрозы. [191]

Однако эта классическая социология не смогла выработать своего единства, она постоянно и непреодолимо разлагалась на три течения мысли. Первое, самое близкое к предшествующей эпохе, задавалось вопросом об условиях интеграции и социального порядка. Второе делало акцент на отношениях неравенства и господства. Последнее видело в современности прежде всего рыночную свободу и триумф индивидуализма. Эти три течения мысли были объединены главным понятием *общества*, поскольку последнее включало в характеристику современности одновременно и триумф правящего класса, и усиление национального государства. Это был настоящий интеллектуальный переворот, объединивший проблемы функционирования индустриального общества и проблемы индустриализации. Он потерял доверие с тех пор, как капиталистическое индустриальное общество перестало быть единственным примером индустриализации. Когда умножились «пути» индустриализации и, в особенности, появились социалистические и националистические варианты индустриального развития, стала невозможна более идентификация государства с социальными действующими лицами, определенными их ролью в некоем типе общества (таковы буржуазия и рабочий класс в Европе). Тогда разрушилось и понятие общества.

Самые крупные представители классической социологии стремились преодолеть эти внутренние противоречия мышления XX века. Некоторые больше всего хотели объединить идею социальной системы и идею модернизации. Толкотт Парсонс в самом конце этого классического периода стремился объединить Дюркгейма, Вебера и Токвиля ценой исключения марксистской темы о структурных конфликтах. Но дистанция между этими тремя концепциями так велика, что они не поддаются каким-либо попыткам интеграции.

Перед лицом этой констатации я стремился здесь прежде всего реконструировать социологическое знание, не скрывая его внутренних споров и множественности его школ. Чтобы достичь этого, я удалил два больших понятия, на которых покоилась классическая социология: понятия общества и эволюции. Затем я поместил в сердце анализа культурные ориентации, общие социальным действующим лицам, которые в то же время конфликтуют друг с другом из-за управления ими, стремясь использовать их или в интересах новаторского правящего класса, или, наоборот, в интересах тех, кто подчинен его господству.

Классическая социология была разделена между социологией идентичности, то есть места, занятого в социальной системе, [192] социологией противостояния, то есть конфликта, и социологией развивающейся тотальности, здесь — совре-

менности. Я предложил идею, что конфликтующие действующие лица не могут быть разделены культурными целями, которые общи им и которые, со своей стороны, не существуют независимо от конфликтов, касающихся их социального использования. Последнее противопоставляет между собой действующие лица, которые можно назвать классами или общественными движениями.

Тем, кто хочет видеть во всех проявлениях социальной жизни суровое присутствие господства, эта концепция напоминает, что подчиненные действующие лица могут также участвовать в культуре и, следовательно, бороться против социального господства, которому подчинена эта культура. Тем, кто видит в социальных отношениях только разнообразное применение ценностей и общих норм, она показывает, что между культурными ориентациями и организационными формами вмешиваются отношения господства, существующие во всех коллективных практиках. Тем, кто продолжает объяснять социальный факт тем местом, которое он занимает в исторической эволюции, она противопоставляет идею о том, что общества все менее находятся «в» истории, что они сами производят свое собственное историческое существование с помощью своей экономической, политической и культурной способности воздействовать на самих себя и производить свое будущее и даже свою память.

Разрыв с классической социологией возможен только в том случае, если сегодня мы перестаем отождествлять действующее лицо с его творениями, субъекта с историей, если мы покидаем эпическую точку зрения душащих нас политических идеологий и занимаем более романтическую позицию, стремясь вновь отыскать действующее лицо в его заключении или скорее в его изоляции, а не среди триумфа его творений. Отсюда ясна важность, придаваемая движениям протеста, взятым не только в качестве специфического объекта исследования, но и как более общего источника размышления. В движениях протеста смешиваются инновации и бунт, и таким путем происходит освобождение действующих лиц общества от институтов и идеологий, каковые предстают косвенными продуктами культурных ориентации и социальных конфликтов, в которые включено это действующее лицо.

2. Почему сегодня так трудно осуществлять работу по реконструкции социологического знания? Это происходит потому, что социология более непосредственно, чем другие общественные науки, связана с текущей историей, и потому, что мы практически, то есть [193] не только интеллектуально, но и политически, и идеологически переживаем кризис прежних представлений об общественной жизни. Вера западных обществ в самих себя, такая очевидная в грандиозной конструкции Толкотта Парсонса и во всей продолжительной позитивистской традиции, оказалась начиная с шестидесятых годов резко поставлена под вопрос. Со своей стороны, критические социологии имели настоящую силу только пока они могли противопоставить критикуемым обществам реальную историческую модель. Но ни Москва, ни Пекин, ни Алжир, ни Иерусалим, ни Гавана, ни Белград не вызывают больше доверия и энтузиазма: мы познали слишком много разочарований, чтобы еще верить в земли обетованные.

Наконец, мы сомневаемся также в идее развития, которая позволяла помещать все страны в великое движение вперед к современности и рационализации. Повсюду обостряется национальная специфика, во многих странах снова доминируют в общественной жизни коммунитарные объединения, тогда как философия Просвещения верила, что освободила от них современный мир. Старые образы валяются в пыли, и у нас нет больше теории социального. Место последнего захвачено, с одной стороны, деятельностью государств и их военным соперничеством, с другой, личностными и межличностными проблемами, как если бы не существовало более автономное общественное пространство. Эта социальная пу-

стота тем более ощутима, что политическая сцена вообще занята партиями и коалициями, считающими себя представителями групп, идей, проектов, которые принадлежат все более далекому прошлому. Что еще более увеличивает скептицизм и усталость. Размышления об общественной жизни не имеют более никакой аналитической ценности и даже в демократических странах воспринимаются как «казенщина».

Однако не запоздала ли уже эта мрачная картина относительно наших наблюдений? Не формируется ли уже в наших странах сознание того, что они пережили кризис? И не стремятся ли они освободиться от старых, созданных ими самими представлений о себе? Общество, переживающее кризис, имеет и кризис социологии. В некоторых странах, где старые модели сохраняют еще влияние, обновление общественной мысли происходит медленно, как если бы общественное мнение предпочитало избегать область общественной мысли, вместо того чтобы рискнуть столкнуться со словами, идеологиями и программами, которые еще сохраняют некоторую силу, но в которые почти никто больше не верит. Такое положение существует во Франции. В других странах более видно не старение политических [194] идеологий, а изменения в культуре, формирование новой модели знания, новых этических принципов, новых форм инвестирования и производства. Но повсюду ощущение кризиса уступает мало-помалу место идее мутации, нового этапа индустриального или постиндустриального развития, который возвещает новые социальные и политические конфликты. Это делает необходимым освободить наш анализ общественной жизни от мертвых идей и слов, ясность которых лишь кажущаяся. Социология, как и история, изменяется вместе с самой общественной реальностью и мало-помалу освобождается от обращения к природе или к сущности вещей по мере того как оказывается, что наша общественная жизнь все более прямо осуществляется и изменяется нашим трудом, нашими социальными конфликтами, культурными творениями и политическими дебатами.

Мы никогда не обречем вновь исторической достоверности у тех создателей современной социологии, которые верили, что история движется к индивидуализму, рациональности или революции. Анализ некоторых форм коллективного поведения может сегодня привести нас к гипотезе, что общественные движения возможны. Но труднее знать, при каких условиях реальный конфликт может породить общественное движение, ибо иногда движение логически возможное так и не получает исторического воплощения. Нам сегодня предлагаются три больших вопроса указанного типа, возникающие на границе социологии и истории.

Первый из них заключается в том, живем ли мы еще в гражданском обществе, достаточно независимом от государства, чтобы культурные творения и социальные конфликты заняли в нем центральное место, или напротив, мы присоединяемся к большинству стран мира, в которых господствует скорее волонтаристская деятельность государства, чем классовые конфликты? Второй касается того, можно ли еще говорить о социальной системе, об общественном типе, который определяется классовыми конфликтами и их культурными целями, то есть неким центральным конфликтом, тогда как изменения ускоряются и разнообразятся? Большинство наблюдателей не думают, что сформируется в будущем общественное движение, которое будет занимать такое же центральное место, какое занимало рабочее движение в индустриальном обществе. Я, со своей стороны, придерживаюсь мнения, что соотнесение с центральным конфликтом существенно для всякого наделенного историчностью общества. Но сможем ли мы перейти от защиты такой гипотезы к наблюдению в историческом опыте какого-либо центрального конфликта? [195]

Третий из вопросов касается, наконец, того противоречия, которое как будто существует между способностью общественных движений сопротивляться техно-



кратическим манипуляциям и их волей использовать самую передовую технику для изменения управления обществом. Действующие лица общества в прошлом имели только ограниченную способность действия, так как они принадлежали скорее к миру воспроизводства, чем производства. Сегодня происходит обратное, в связи с чем возникает вопрос, не разделяет ли действующих лиц ускоренное изменение? Данная книга не отвечает на поставленные вопросы, это может сделать только одновременно социологическое и историческое исследование форм рождения и развития того общества, которое я называю программированным. Но она позволила сформулировать эти вопросы. Сейчас они такие же центральные, каким был в прошлом веке вопрос о том, как создать стабильность и порядок в обществе, которое постоянно революционизируется индустриализацией и ее последствиями?

В этой книге сохранялась насколько возможно большая дистанция по отношению к социальной истории, чтобы приоритет получило критическое рассмотрение понятий, на которых основывается социологический анализ. Но ее главная цель состоит в том, чтобы сделать возможным и подготовить анализ новых общественных движений, новых действующих лиц нашей истории. Таков смысл заголовка книги и такова тема всех ее глав, в которых речь идет о том, чтобы заменить социологию общества социологией действующих лиц и даже субъектов, систем действия, социальных отношений и конфликтов, и значит, общественных движений. Более конкретно, речь идет о том, чтобы устранить старые образы движений, рассматриваемые в качестве исторических агентов прогресса, разума и науки, и революции, взятой как уничтожение иррациональности традиций и привилегий и учреждение общества, управляемого по своей природе законами функционирования и эволюции. В этой книге дан образ общественного движения как коллективного действующего лица, включенного в конфликт за общественное управление главными культурными ресурсами. В ней показано также, что конфликт может существовать только в открытом обществе, наделенном демократическими институтами, и в условиях отказа от обращения к метасоциальному принципу легитимации общественного порядка или к авторитету абсолютного государства. Самое общее размышление, естественно, вновь находит здесь близко нас касающиеся проблемы. Действительно, существует ли более фундаментальное изменение, чем то, которое [196] перед нашими глазами отделяет идею общественных движений от идеи революции, скомпромитированной отныне вырождением постреволюционных режимов, и соединяет ее с идеей демократии, политической свободы, которая долго третировалась как «буржуазная», но без которой действующие лица общества не могут ни бороться, ни вести переговоры? Это не значит подчинять социологический анализ политическим целям, напротив, это значит прояснить область политики светом социологического анализа, поставив в центр нашего актуального размышления две проблемы: как удержать и развить автономию гражданского общества и его действующих лиц по отношению к государству, которое все более прямо управляет экономической, социальной и культурной жизнью? И как создать союз общественных движений и политической демократии?

Нельзя ответить на эти проблемы, только определяя требования и ориентации новых общественных движений. Так же важно и, может быть, более необходимо сегодня освободить субъект от техницистских иллюзий, от бюрократии, от политических игр и от абсолютной власти, которые его душат или стремятся разрушить.

Издавна призыв к субъекту, к способности людей делать свою историю приобретал форму определенных исторических проектов: разрушить привилегии, изменить институты, взять власть. Эти призывы должны были привести в движение

массы, исключенные из истории. Сегодня мир не страдает от избытка пустоты и молчания, он заполнен шумом и яростью. Сейчас не время призывать к коллективному действию, настало время обратиться к субъекту. Историчностью не являются только вложения, сделанные в культурные модели, она включает также дистанцирование по отношению к практике и нормам социального потребления. Позже вернутся надежды и разработка новых инициатив. Сегодня большие битвы являются оборонительными и освободительными: нужно освободиться от больших принципов, превратившихся в мелочные стратегии, от властей, ставших агрессивными или просто поглощающими.

Переход от одного общественного типа к другому может осуществиться либо на поле брани, либо, напротив, с помощью внутренних трансформаций, осуществленных на базе общественной жизни. Особенность Запада заключается в создании изменений эндогенного типа, даже если это всегда дополнялось гегемонией над остальным миром. В западной модели развития прежде всего изменяется культура: появляются новые знания и новая техника, связанные с видоизменением нравов и производительных сил. Затем появляются [197] новые социальные действующие лица с их манерой действовать. Еще позже реорганизуется политическая система и устанавливаются новые формы организации. Наконец, кристаллизуются идеологии, которые соответствуют интересам заново сформировавшихся действующих лиц.

В настоящее время наша культура уже сильно изменена. Наука и технология, с одной стороны, этика, с другой, наконец, формы производства вошли в процесс мутации. Мы думаем, ведем себя и работаем соответственно моделям, не принадлежащим уже индустриальному обществу. Но формы нашего действия и политические идеологии еще отмечены прошлым, даже если уже они вступили в процесс необратимого разложения. Действующие лица общества с трудом обретают форму, оказавшись между изменившейся культурой и связанными с прошлым формами организации и общественного мышления. Ни управляющие, ни управляемые не имеют еще ясного представления о самих себе и о разделяющих их конфликтах. Наше размышление связано с этим этапом мутации, то есть перехода от уже измененных форм историчности, культурных моделей к еще неясному формированию новых действующих лиц. Этот переход не является механическим, он осуществляется только если культурные цели перестали отождествляться с обстоятельствами, если действующие лица формируются, ориентируясь на эти цели и открывая вместе с этим те отношения господства, в которые они включены.

Что такое субъект если не действующее лицо общества, поставленное в отношение к культурным моделям, к историчности общества того типа, к которому оно принадлежит? Только обращение к субъекту позволяет сегодня перейти от уже изменившейся культуры к созданию действующих лиц, способных оживить его своими верованиями и конфликтами. Мы не слышим больше призывов к изменению общества и государства, мы не доверяем никаким лозунгам и никаким идеологиям, но мы чувствуем потребность жить в мире, который мы уже перестроили, вместо того чтобы ютиться рядом с ним, среди руин нашей истории.

Даже при очень благоприятных обстоятельствах переход от одного типа общества к другому не осуществляется без нарушения непрерывности. И именно в такой момент разрыва наиболее необходимо услышать призыв к субъекту, понять, что не общественная ситуация управляет действием и сознанием, а что она сама является результатом культурных инноваций и общественных конфликтов. Перед тем как действующие лица смогут признать себя творцами своей [198] истории, должно наступить то, что я называю романтическим моментом. В этот период субъект проявляет себя не своими творениями, а сознанием дистанции в отношении незначительных или чуждых вещей, своим желанием свободы и творчества.

Завтра, вероятно, возникнут общественные движения и политические переговоры, сегодняшний день отличается не только разложением прошлого и общим ощущением кризиса, но и призывом к субъекту, к необходимости поставить под сомнение все формы социальной организации и к требованию творческой свободы.

Данная книга приурочена в точности к этому моменту. Она не содержит только размышления о возвращении действующего лица, она готовит его появление. [\[:199\]](#)

## БЛАГОДАРНОСТИ

Большая часть текстов, собранных в этой книге, уже были опубликованы, но почти всегда в другой форме и часто не на французском языке. Я благодарю ответственных за публикации, которые разрешили мне их использовать.

«Презентация» и раздел «От общества к социальному действию» не были изданы. «Мутация социологии» представляет новую версию «Возвращения действующего лица», опубликованного в «Международных тетрадах социологии», LXXI, 1981, с. 243–255

«Сдвиг современности» был опубликован почти одновременно, но с большими модификациями, в «Международном журнале сравнительной социологии» под руководством Э. Тирьякьяна.

Раздел «Имеет ли центр социальная жизнь?» был представлен по-английски как guest lecture на конгрессе Американской ассоциации социологии в 1982г. и опубликован в томе, посвященном памяти Жоржа Баландье (Париж, 1984).

Раздел «Восемь способов освободиться от социологии действия» был сначала опубликован в «Новой тетради по философии», тетрадь 8 «Бизнестеория», под руководством Р. Бубнера, К. Крамера и Р. Виль, Геттинген, Ванденгох и Рупехт, 1976, с. 134–160, и затем в журнале «Информации по общественным наукам», т. 15, 6, с. 879–903

Раздел «Общественные движения: особый объект или центральная проблема социологического анализа?», представленный сначала в «Социологентаг» Немецкого социологического общества, был частично опубликован в «Социальном мире», 1983, 2, затем во «Французском обозрении социологии», 1984, 2.

Раздел «Два лица идентичности» был опубликован в книге «Коллективные идентичности и социальные изменения» под руководством П. Тапа, Тулуза, Прива, 1980, с. 19–26. [200]

«Изменение и развитие» — это очень измененная часть исследования, опубликованного в «Социологии и Обществах», журнале университета в Монреале, октябрь 1978 г., с. 149–187, в виде заключения коллоквиума, организованного в 1976 г. по моим работам.

«Метод социологии действия: социологическая интервенция» — был представлен на конгрессе Швейцарского общества социологии и опубликован в «Швейцарском ревю социологии», 1980-1, 6, с. 321–334.

«Рождение программированного общества» представляет переделанную версию «Создания программированного общества», опубликованного в «Новых проблемах передовых обществ» Японского экономического исследовательского института, 1973.

«Новые социальные конфликты» были опубликованы в «Социологии труда», 1975-1, с. 1–17.

«Отток новых общественных движений» представляет новую версию части лекции, прочитанной на конгрессе, организованном «Иль Мулино» в Болонье и опубликованной в «Ля Сочьета Комплессе» под руководством Ж. Паскино, Болонья, Иль Мулино, 1983, с. 201–235.

«Общественные движения, революция и демократия» была представлена на Чтениях в честь Ханны Арендт в Новой Школе Социальных Исследований в 1983 г. и будет опубликована на французском в томе, посвященном памяти проф. Щепанского в Варшаве.

«Post-scriptum» не был издан.

Эти работы сопровождали исследования, посвященные общественным движениям, которые я вел с 1976 г. с Франсуа Дюбе, Жужой Хегедюш и Мишелем Вьевьорка. Мои личные размышления неотделимы от работ, которые мы проводили сообща. Вивиана Ле Дре и Жаклин Салуаджи обеспечивали материальную подготовку последовательных версий этих текстов. Жан-Батист Грассэ придиричливо перечитывал их, что во многом способствовало превращению первоначальных текстов в новую книгу. [:201]